

[Polaris]

Сергей Соломин



Ошибки биолога

Избранные сочинения

Том II

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCCLXXXVII



Salamandra P.V.V.

Сергей
СОЛОМИН

ОШИБКА
БИОЛОГА

Избранные сочинения

Том II

Salamandra P.V.V.

Соломин (Стечкин) С. Я.

Ошибка биолога. Сост. и подг. текста М. Фоменко (Избранные сочинения. Т. II). — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2021. — 190 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCLXXXVII).

Настоящее издание является наиболее полным на сегодняшний день собранием научно-фантастических, детективных и приключенческих сочинений беллетриста и писателя-фантаста С. Я. Соломина (Стечкина, 1864-1913). Во второй том собрания вошли фантастические и научно-фантастические рассказы. В приложении — небольшой цикл «Нянюшкины сказы».

ОШИБКА БИОЛОГА

ЗАВТРА

(Рассказ из жизни будущего)

I

На земле давно воцарился мир между народами. Все государства разоружились. Погасли чудовищные горны орудийных заводов. Перестали грохотать гигантские паровые молоты, ковавшие броневые плиты и их разрушители — пушки.

Потомки Круппа, Армстронга, Крезо и других орудийных заводчиков переменили фамилии, чтобы имена дедов и прадедов не напоминали эпохи железа и крови, безвозвратно ушедшей в прошлое.

Регулярные армии стали легендой былых времен, и военные мундиры можно было видеть лишь на манекенах, изображающих в музеях прежних воинов.

Пушки и ружья отчасти послужили подножиями для памятников «Мира», которыми были украшены площади всех городов. Остальные же орудия разрушения и смерти давно были перекованы в машины и изделия, служащие для блага человеческого, а не для вражды и злобы.

Трудно было встретить человека, вооруженного револьвером или ружьем. В самозащите никто не нуждался, животные находились под общественным покровительством, охота строго воспрещена. Только в немногих еще диких местах земного шара позволялось истребление хищников, но на людей, занимавшихся этим делом, все смотрели с глубоким презрением.

Старые броненосцы употреблялись лишь для плавания по полярным странам. Их броня служила защитой не против разрывных снарядов, а сберегала судно от натиска льдин.

Но с каждым годом этих «ветеранов военного флота» становилось все меньше. Их разбирали в доках, а железо и сталь отправляли на механические заводы.

С колоссальным развитием воздухоплавания, делающего невозможными охрану пограничной черты и таможенный надзор, исчезли границы между государствами. Да государственная касса и не нуждалась в таможенных сборах, избавленная от тяжелого бремени военных расходов.

Постепенно люди забыли национальную вражду, и народы все теснее сливались в одну семью, забывая ветхие слова: черный, белый, желтый, русский, негр, еврей, англичанин, китаец, француз... Женщины особенно способствовали этому слиянию, вступая в браки с мужчинами других национальностей. И скоро на земле осталось одно имя: человек.

Сливались вместе и языки — и мечта эсперантистов, наконец, осуществилась, хотя, конечно, всемирный язык несколько не походил на придуманную кабинетными учеными тарабарщину.

Рознь между классами сгладилась, освободился труд, и паразитное существование богатых стало невозможным.

Женщина во всех правах своих сравнялась с мужчиной.

Рай земной, казалось, наступил на земле, но объединенное человечество, разрешив все «проклятые вопросы», стало в тупик перед роковым противоречием, которое уже не в силах был изменить самый совершенный строй человеческой жизни.

II

Национальности и классы слились в единое человечество, но тем резче выступило различие между мужчинами и женщинами.

В знаменитом органе «Долой мужчин!», расходившемся в количестве $1 \frac{1}{2}$ миллиарда экземпляров (население земного шара достигло 5 миллиардов), всемирно известная писательница Ада Грей, подписывавшаяся псевдонимом «Светоч Дианы», поместила боевую статью. Вот что писала, между прочим, мисс Грей:

«За время владычества мужчины, он с циничной откровенностью разоблачил себя в литературе. Не спорю, что это, в своем роде, геройский поступок, хотя вернее объяснить его извращенной натурой гг. самцов. В цинизме они находят удовольствие, которое позволило себе назвать садическим. Но для нас, женщин, это отвратительное свойство мужчин принесло большую пользу. Мы теперь хорошо знаем этих бывших наших господ и рабовладельцев во всех их недостатках, в омерзительной грязи их гнусных побуждений, в их мелочности и холодном эгоизме. Женщина-писательница не была, конечно, так глупа, чтобы откровенно раздеваться перед публикой и копаться с самобичеванием во всех побуждениях женской души и женского тела. Мы, женщины, по природе своей гораздо чище, идеалистичнее, чем мужчины. Цинизм нам противен. И мы не впали, поэтому, в ошибку мужчины, раскрывшего все свои секреты для общего сведения.

Зачем нам, собственно, нужны мужчины? Все области мысли и труда нами завоеваны и в них мы заявили себя гораздо умней и производительней, чем эта жалкая раса бородатых мужчин, до сих пор употребляющая потихоньку алкоголь и табак, несмотря на подавляющее большинство голосов, высказавшихся за безусловное их воспрещение при всенародном голосовании. Эта раса, веками отравлявшая свой организм, истощенная, вырождающаяся, затем нужна она нам, сильным, бодрым, полным здоровья женщинам? Отцы наших детей? Говоря проще, заводские производители? Ну, так и будем на них смотреть и выбирать для недолгого сближения более здоровые и сильные экземпляры. Но мужчина должен быть отстранен совершенно от воспитания детей, от распорядительной роли в общественной жизни. Пусть, пожалуй, наиболее талантливые занимаются наукой и искусством. Отныне, роль мужчины в мире должна быть чисто служебной. Долой зазнавшихся павианов, царству их наступил конец, мы — сильнее их!»

В другом, тоже весьма распространенном журнале «Друг женщин» одна из сотрудниц писала:

«Женщина всегда будет ненавидеть мужчину уже потому, что он свободен от некоторых особенностей в отправлениях женского организма и не знает мук деторождения. Мы различные существа, но природа возложила на нас гораздо более тяжелые обязанности, а потому мы, а не мужчины, должны главенствовать.

Пора давно бросить глупую сентиментальную теорию о равноправии и равенстве. Мы существа более совершенные, а мужчина может быть только нашим покорным слугой, нашим исполнительным рабом».



Разумеется, в свою очередь, мужчины основали свои органы печати, чтобы бороться с женским натиском.

В многочисленных статьях они убедительно доказывали, что женщины более низшая раса, что мужчины физически совершеннее, что они превосходнее в умственном отношении, что ими создано все в области науки, искусств и общественной жизни:

«Женщина никогда не была творцом самостоятельной идеи и попросту украла сокровища мужского ума, превратив их в базар-

ную ценность. Влияние женщины всегда было и есть опошляющее благодаря их мещанской, мелочной натуре».

Все это были роковые предвестники, что два человеческих лагеря скоро перейдут от слов к делу, и возгорится не-примириная война между двумя столь враждебными друг другу расами.

III

Я не стану здесь подробно описывать многолетней войны между мужчинами и женщинами, превзошедшей своей жестокостью все бывшие ранее войны народов.

Началось с того, что мужчины, видя себя повсюду подавленными женской ратью на поприще труда и общественной деятельности, вернулись к старому способу самозащиты и стали тайно выделять оружие, обучаться вновь военному строю и организовывать настоящие военные полки былых времен.

Но скоро предатели из мужского лагеря за женский поцелуй и ласку, за лукавое объятие продали тайну своего племени.

Женщины разразились громовыми статьями, произнесли на митингах обличающие речи, но все это являлось негодными средствами для борьбы с мужским заговором. На силу надо было отвечать силой! Для подавления вооруженного восстания мужчин, которое готово было вспыхнуть каждую минуту, женщины также решили образовать сильное войско. Тут было задето и самолюбие.

— Мы покажем этой бородатой породе!

Начались кровавые столкновения, началась борьба не на жизнь, а на смерть, которой еще никогда не был свидетелем мир.

Война длилась много лет. Сердца ожесточились. Казалось, между племенем мужчин и племенем женщин разверзлась зияющая бездна. Неизвестно, чем кончилась бы эта



ужасная борьба, если бы она происходила между враждующими народами. Но властный инстинкт притягивает друг к другу врагов, через бездну перекидывались легкие мосты, и под таинственным покровом ночи, с проклятием на устах, со злобой в сердце, мужчины и женщины после кровавой битвы сливались во взаимных объятиях.

Эта роковая двойственность отношений, эта холодная, жестокая отчужденность днем, безжалостная разящая рука, и та же рука, изнывающая ночью в трепетно безумных ласках — все это доказало, наконец, двум враждующим человеческим племенам, что война должна длиться бесконеч-

но, без всякой надежды на победу той или другой стороны.

Мужчины и женщины объявили перемирие и решили выработать новый, обоюдно-выгодный строй жизни...

• • • • •

Странный вид приняла земля после того, как между двумя враждебными друг другу племенами, мужским и женским, воцарился прочный, долговечный мир. Недавние врачи постановили на общем заседании депутатов отныне жить раздельной жизнью. Плодоносные земли, природные богатства — все было точно разделено на две равные части. Человеческое общежитие сосредоточилось в городах, стоящих близко друг от друга. Они были окружены крепкими стенами и охранялись стражей из пожилых, но еще сильных людей. Так же сурово охранялась и пограничная черта между владениями двух племен. На воротах одного города было написано крупными буквами: «Петербург (или другое название) — женщины», на воротах другого — «Петербург — мужчины».

Женский город имел свои особенности. Вдоль окружающих его стен находилось множество железных, в обыкновенное время запертых дверей. Это имело вид базара с закрытыми лавками. В расстоянии, приблизительно, двухсот сажен шла вторая внутренняя стена с такими же дверями. Промежуток между двух стен был разгорожен поперечными стенками, и между ними построены веселенькие дома, окруженные цветниками, красивыми деревьями, фонтанами, тенистыми аллеями, причудливыми беседками и прохладными водоемами.

Только раз в год, в пору весны, когда оживала вся природа, сильнее билось сердце и горячей волной переливалась кровь в жаждущих наслаждения тела, отворялись таинственные двери женского города и раздавался гулкий звон призывного колокола.

Тогда из города мужчин тянулись вереницы людей, жаждущих женских объятий.

Они входили в дверцы и попадали в маленькие пустые комнаты. На противоположной стене виднелась маленькая форточка. Мужчина стоял и ждал. Если форточка внезапно захлопывалась, он уходил, грустно опустив голову, и искал счастья в других дверях.

Но бывало и так, что радостной трелью звонил колокольчик, внезапно открывался проход. Мужчина спешил туда, и нежные, обнаженные руки кольцом обвивали его шею. Начинались блаженные дни совместного житья, проходившего в беспрерывных объятиях, в веселеньких домах, между двумя стенами, среди прекрасных садов и фонтанов.

А когда женщина явно становилась матерью, являлись суровые седые прислужницы, отводили мужчину к выходным дверям и провожали его змеиным шипом:

— Будь ты проклят!

Если от этой мимолетной связи рождалась девочка, она становилась гражданкой женского города. Мальчика держали только до семи лет, и тогда старухи выводили его за городскую черту и передавали с рук на руки старикам-воспитателям, для которых уже навсегда была потеряна надежда попасть в пространство между двух стен: для них «форточка весны» была всегда закрыта.

Так и жили два враждебных друг другу племени, приимишившись лишь на том строе жизни, при котором каждая сторона устраивается по-своему, и только раз в год под влиянием властного инстинкта происходят недолгие встречи. Люди не знали, кто их матери, отцы и дети, и перегородки родства навсегда рухнули.

Когда-нибудь я опишу подробно удивительную жизнь раздельных существований мужчин и женщин, а теперь, в дни наступающей весны, ограничусь этим легким очерком. Наступило время, когда два враждебных друг другу племени смягчают ненависть и злобу, и врагов властно тянет друг к другу. Двери женского города открыты.

Попытайтесь счастья. Желаю вам не натолкнуться на захлопнутую форточку.

КОМЕТА

I

В роскошном кабинете банкира уже четвертый раз собираются миллиардеры, короли различных производств и предприятий.

Всегда совещание происходит в полной тайне и прислуге строго воспрещено входить без зова, даже если пришла срочная телеграмма или по телефону передали экстренное сообщение биржи. Прием посторонних совершенно прекращается.

Доверенный слуга банкира, преданный ему, как собака, холодный, бесстрастный и исполнительный, берегает двери, но все же внутри спускается тяжелый занавес и ни один звук не доходит из кабинета, если бы даже выстрелили из револьвера.

— Итак, — начал прения железнодорожный король, — в принципе мы все согласны, что постройка особого изоляционного дома необходима. Я не предвижу затруднений относительно ассигнования сумм и степени участия каждого из нас. Весь вопрос в том, чтобы от слов перейти к делу и осуществить технический план.

— Я, приглашенный вами после других... — заявил нефтяной король.

— Только потому, что вы путешествовали на вашей яхте и не было сведений, куда вам телеграфировать! — поспешил объяснить банкир.

— Хорошо! Я и не думал другого. Все-таки я желал бы лучше познакомиться с научной мотивировкой нашего проекта. Конечно, я не имею в виду коммерческого расчета, но в случае, если все окажется пусфом, мы очутимся в смешном и неприятном положении. Газеты будут таскать полгода наши имена по своим грязным страницам, а рабочие возненавидят нас еще сильнее, узнав, что мы хотели спасти только себя.

— Прочтите вновь доклад, Фергюссон! — обратился банкир к секретарю заседания, королю боен.

— «Германский астроном Цедербаум сделал свод мнений ученых всего мира и пришел к следующему заключению:

1) Комета, обогнув солнце, непременно пересечет земную орбиту и шансы на встречу выражаются пропорцией 97:100.

2) Ввиду того, что состав вещества кометы газообразный, при встрече не предвидится никакой опасности механических повреждений.

3) Спектральный анализ доказал, что вещество кометы содержит значительное количество циана, что представляет неотвратимую, смертельную опасность для всего живущего на земле и дышащего легкими, так как ничтожный процент циана в воздухе чрезвычайно быстро убивает животный организм.

Отравление атмосферы продолжится несколько дней, вероятно, не более недели. Принимая же во внимание, что хвост кометы по мере удаления от ядра состоит из все более разреженной материи, а также и собственное поступательное движение земли, стремящееся вывести ее из сферы влияния кометы, — срок этот может быть уменьшен до трех и далее двух дней. Циан, соединенный с влагой воздуха, образует синильную кислоту, которая растворится в огромном количестве воды океанов, морей и рек. Ветра и дожди быстро очистят атмосферу, но для человека и почти всех животных это будет слишком поздно. Останется в живых большинство рыб, некоторые земноводные и насекомые. Из теплокровных спасутся немногие, и то благодаря счастливой случайности». Вот, создать искусственно эту счастливую случайность и составляет цель нашего проекта, — закончил доклад Фергюссон.

— Хорошо! Кому мы поручим ведение дел?

— Банкиру Смиту и Фергюссону.

— Хорошо!

И нефтяной король первым встал, подошел к столу и подписал чек на 10 миллионов долларов. За ним подошли и другие.

Общая сумма получилась колоссальная.

— Избыток в подобном случае не мешает, — заметил хлопчатобумажный король. — Рабочие должны быть привезены издалека и щедро вознаграждены. Лучше всего — эмигранты, не знающие нашего языка, им можно обеспечить возвращение на родину.

— Русские, латыши и литовцы, — добавил железнодорожный король. — Они достаточно трудолюбивы и крайне незлобивы.

— Хорошо! — подтвердили все хором.

II

На небе ярко сияла звезда, далеко раскинув двойной хвост. И, если долго смотреть на нее, кажется, что она все ближе и больше, и ухо улавливает грозный шум стремительно мчащейся громады. Конечно, это уставал глаз от долгого наблюдения и кровь шумела в ушах, приливая к мозгу. Но среди невежественных людей многие говорили, что «комету можно слышать».

Газеты покупались нарасхват, но в них не было ничего нового, чего бы не мог видеть каждый. Потому что размеры кометы быстро увеличивались и хвост ее, как два огненных меча, простирался все дальше, зажигая своим светом старинные лампады ночного неба.

И вот наступил день, когда жители огромного города впервые увидели грозное чудо. При ярком солнечном освещении комета все же осталась видной и, казалось, хотела бороться с мощью лучей огненного светила.

Теперь все, читавшие и не читавшие газеты, верившие и не верившие в науку, поняли и почувствовали, что дело совсем не в астрономических бюллетенях, а в неведомой страшной опасности, лежащей вне человеческих знаний и усилий. Нет власти, которая приказала бы комете удалиться, и невозможно отлить пушку, чтобы расстрелять небесного врага. Идет и придет, и никто ее не остановит. Совершится то, что должно совершиться.



Люди, наконец, поверили и каждый по-своему отнесся к близкому концу всего живущего на земле.

Одни дознавались от ученых: правда ли? И ждали утешительного слова, как ждет неизлечимо больной от врача, откровенно сказавшего истину.

— Быть может, все-таки есть надежда?

Но ученые отвечали сурово:

— Столкновение неизбежно!

Многие, не веря в силы разума человеческого, вспомнили о древнем Боге, и пошли, и поклонились ему, и у подножия алтаря молились о чуде.

Но нашлись и третьяи, и немало их, которые, посмотрев на чудовищную комету,зывающе щутили и смеялись:

— Кажется, сегодня она не помешает мне выпить бокал вина и поцеловать женщину.

Было много и таких, что живут в тупом безразличии и, когда все рушится вокруг, хватаются спасать позеленевший кривобокий кофейник и рухлядь двуспальной кровати.

А комета дошла уже до зенита и хвост ее широким светящимся пологом опускался до края земли.

Астрономы с грустью сообщали, что столкновение произойдет не позднее двух недель. Во всех странах перепечатывали соображения русского ученого, который весьма скептически отнесся к ожидаемой гибели земли и в шутливой форме назначал свидание через месяц после катастрофы.

Но печать незаметно принимала все более трагический тон и в стихах поэтов слышались отзвуки похоронного пения.

Ожидание всеобщей гибели примиряло людей и вековые перегородки между бедными и богатыми, казалось, готовы были исчезнуть. Но одно газетное известие взбудоражило всю страну и ненависть вспыхнула с новой силой:

«Из достоверных источников мы узнали, что банкир Смит и пятеро миллиардеров (фамилии были, перечислены) вместе с семействами, доверенными слугами, двумя инженерами и врачом укрылись в специально выстроенном изоляционном доме с совершенно непроницаемыми стенами. Дом помещается в глухой, необитаемой местности и выстроен в течение двух с половиною месяцев рабочими-эмигрантами, которые были затем отправлены на родину, получив огромное вознаграждение. Внутри имеется лаборатория для добывания кислорода и аппараты, поглощающие углекислоту. О запасах пищи, вин и всевозможных удобствах говорить, понятно, нечего: миллиардеры строили для себя».

Толпа осаждала редакцию газеты, требуя точного указания места изоляционного дома, и пришлось вывесить аншлаг: «Послано около сотни репортеров для расследования, о результатах публика будет извещена немедленно».

И толпа простоявала круглые сутки под окнами редакции и ждала, криками выражая свое нетерпение.

Слышались угрозы и проклятия:

— Пойдем, разорим их проклятое гнездо!

Ровно за неделю до встречи земли с кометой появился новый аншлаг: «Изоляционный дом миллиардеров находится в штате Аризава».

Толпа замерла и молча стала расходиться, а небо пытало зловещим заревом и огненный шатер раскинулся уже на половину горизонта.

И на зените сверкала огромная звезда, как венец грядущей смерти. Было светло, как днем, но от этого жуткого света хотелось бежать и спрятаться, чтобы не видеть.

III

В изоляционном доме, блиндированном снаружи стальными плитами, а внутри отделанном с неслыханной роскошью, текла изо дня в день обычная жизнь миллиардеров, не знающих отказа в своих желаниях. Они пошли на добровольное заключение, но это было даже весело и приятно. Так в лютую стужу, под рев губительной выюги, в дни непрерывных дождей, человек, которого нужда не гонит на борьбу со стихиями, сидит дома в покое и довольстве и греется у ласкающего теплом камина.

Там, за стенами дома, царил ужас. Небо, объятое таинственным пламенем, ожидание неминуемой гибели, мольбы и проклятия.

Рушилось все, чем жил человек тысячелетиями: государство, общественность, семья. Доживали последние дни в бессмысленно-лихорадочной деятельности и в диком отупении. Искали забвения в оргиях и вине и не находили его. Люди почти не спали и безумствовали от беспрерывного бодрствования.

И многие, не вынеся ужаса ожидания, кончали самоубийством.

Известие об изоляционном доме миллиардеров облетело страну в несколько часов. И в бесцельной уже жизни че-

ловека создалась новая, призрачная цель: «Надо спешить туда!»

Зачем?

Об этом никто не думал. Дом не мог принять в свои охраняющие недра даже десятка лишних людей. Разрушить его имело больше смысла.

— Пусть гибнут и эти все, купающиеся в золоте, вместе с нами!

Но толпа не определяла ясно и разумно своих желаний. Всех охватил вихрь безумия: «Надо спешить туда!». Как будто там было или спасение, или разгадка последней трагедии человечества.

Снаряжали поезд за поездом и мчались на всех парах. Ехали, скакали, брали пешком, без надежды дойти к сроку. Неслись на автомобилях, напрягали все силы ног, педалируя велосипеды. И в том же направлении, с опасностью взрыва котлов, бешено бурлили пароходы по ближайшей реке.

А огненный полог охватывал уже вторую половину горизонта и сближал края свои, чтобы сомкнуться шатром смерти над землею...

В изоляционном доме не знали и не хотели знать, что делается за стенами. Окон было немного и в них вставлены толстые корабельные стекла и всегда опущены массивные железные ставни. Звуки не проникали извне. Жили при электрическом освещении, разнообразя его цветными лампочками. Только два раза в сутки инженеры всходили на блиндированную вышку и наблюдали небо, делая потом, за завтраком и ужином, доклады о комете. И всегда шутили, ободряя присутствующих:

— Прелестная незнакомка твердо решила нанести нам визит без особого приглашения. Мы хорошо сделали, что закупорились кругом, без звонка у входной двери. Нельзя же пускать в дом всякую авантюристку.

После завтрака общество расходилось. Молодежь переодевалась в спортсменские костюмы и в гимнастическом зале занималась играми и упражнениями. Имелось даже четыре неподвижных велосипеда со счетчиками и это давало

возможность ставить рекорд на скорость и устраивать гонки.

Дамы предавались своим любимым занятиям и разговорам.

Сын хлопчатобумажного короля ухаживал за хорошенкой мисс Мод, дочерью короля боен.

Семилетний сын банкира играл с огромной ньюфаундлендской собакой, единственным животным во всем доме.

Сами короли от нечего делать играли в карты и кости, держали пари с многочисленными ставками. Предложение Фергюсона держать на судьбу земли было единодушно отвергнуто. О комете меньше всего хотели думать.

Обычно предметом пари служили неподвижные велосипедные гонки молодежи. Иногда садились в кабинете около круглого стола и посередине ставили ящик с сигарами. Для сохранения чистоты воздуха курить следовало как можно меньше и пари шло на то, кто раньше не выдержит. Обыкновенно не выдерживал банкир, отчаянный курильщик: при общем хохоте, подписывал чек в миллион долларов и брал сигару. Инженеры были заняты весь день и всю ночь, дежуря по очереди. Они следили за притоком кислорода и поглощением углекислоты, за изготовлением кушаний из консервов, причем нагревание получалось от соединения негашеной извести с водою, и за обезвреживанием нечистот химическими препаратами.

Врач ежедневно осматривал всех обитателей и одобриительно кивал головой, потому что все отличались цветущим здоровьем.

Но при видимой беспечности тревога жила и здесь.

И в минуту одиночества люди думали о грядущей гибели земли и боялись, что дом этот не защитит от смерти и ядовитый газ проберется через незаметные щели и убьет их, жаждущих жизни.

Инженер Ловель позволил себе пошутить за ужином, когда все особенно развеселились. Сверкал хрусталь бокалов и огнистой кровью алело в них дорогое вино. Сверкали бриллианты на обнаженных бюстах женщин. Каждый спешил выделиться остротой и заставить остальных смеяться.

— Не чувствуете ли вы запах горького миндаля? — деланно-тревожным голосом сказал Ловель, намекая на циан, пахнувший горьким миндалем.

И тотчас все смолкли и побледнели, оглядываясь кругом, будто опасность можно было видеть.

— Ваша шутка неуместна, — отрезал железнодорожный король, — это запах ликера.

Общество встало из-за стола в дурном настроении и Ловель проклинал свой язык, стараясь загладить вину. Ухаживал за дамами, даже спел итальянскую песенку. Но повсюду встречал холодные, презрительные взгляды. Он обеспокоил этих людей и они ему показали, какая бездна лежит между господином и наемным слугой.

IV

Странный шум, проникавший даже через толстые блиндируемые стены, первым заметил Фергюссон, обладавший, как охотник, тонким внимательным слухом.

— Там творится что-то необычайное, — сказал он.

Прислушались. Это походило на отдаленный прибой моря, глухой, ритмический, но внезапно звуки начинали беспорядочно усиливаться, росли, вздымались гремящим валом и обрушивались на стены хитро задуманного убежища.

— Позовите инженеров!

Кабинет заперли и стали совещаться, что предпринять.

— Надо открыть боковое окно, — решил Ловель. — Мы с товарищем развинтим болты и поднимем металлические ставни.

Пока инженеры работали, короли ходили в нервной тревоге, прислушиваясь к усиливающимся звукам извне.

С лязгом поднялся ставень, открылось окошко величиною с корабельный иллюминатор и Ловель приникнул к нему.

Смотрел долго, мучительно долго, будто нарочно испытывал терпение других. Наконец обернулся. И лицо было

бледное, растерянное.

— Они пришли!

И все поняли, о чем говорил Ловель, потому что еще более кометы боялись людей, ненавидящих и мстящих за то, что могуществом золота хотели они спастись от общей гибели.

— Они пришли!

Каждый подходил к окну и видел то, что было страшнее пылающего неба. Вся долина кругом залита морем человеческих тел и, пока хватало зрения, видны были головы и головы, поднимающиеся руки и далее все сливалось в волнующуюся темную массу.

Впереди стояли коренастые, в блузах и шляпах, с дикими озлобленными лицами и открытыми ртами.

Отдельных криков не было слышно и рты казались беззвучными, но в стены ударял грозный гул слиянных возгласов гнева и мести.

И среди людей виднелись пушки и их черные жерла смотрели, как глаза слепого, отыскивающего свою жертву.

— Мы погибли! — тихо и внушительно сказал железно-дорожный король.

— А комета? — напомнил Фергюссон.

— Да, только она, убив всю эту сволочь, может спасти нас. Когда мы будем в хвосте?

— Мы уже в нем, — отозвался Ловель, — огненный полог сомкнулся и земля как будто под шатром...

— Значит, ученые ошиблись и ничего не будет?

— Негодяя! Шарлатаны!

— Ничто не может спасти нас!

Из окна было видно, что люди готовятся стрелять. Прошло несколько томительных мгновений. Из черного жерла ближайшей пушки показался дымок, стальные стены дома дрогнули от удара, зазвенели бокалы с вином, которое пили здесь после сытного ужина, и упал на пол золотой, обсыпанный бриллиантами портсигар, лежавший на краю стола.

— Задвиньте окно стальной плитой! — крикнул в ужасе толстый банкир, бледный, с трясущимися руками и выкаченными глазами, как удавленника.

Инженеры завертели какую-то ручку.

Выстрел следовал за выстрелом. И неуязвимые стены тряслись и гулом наполнилось убежище владык золота.

Все обитатели узнали истину. Женщины рыдали, молились, бегали из угла в угол, ища, где спрятаться. Огромный пес поднял свою умную морду и завыл жалобно, надрывисто, вещая близкую гибель...



И вдруг все смолкло. Воцарилась жуткая тишина. В изнеможении короли опустились в кресла и тупо смотрели друг на друга, прислушиваясь к биению своих сердец, еще не успокоившихся от пережитого ужаса.

— Инцидент исчерпан! — весело крикнул инженер Ловель. — Комета с ними покончила!

Но никто не отозвался и в гробовом молчании тянулись долгие часы.

Так прошло много времени и никто не знал, сколько. Сидели, опустив головы, прислушивались и ждали.

Только инженеры вышли тихо, на цыпочках и принялись за свою обычную работу. Ловель отправился на вышку наблюдать небо.

Огромный полог сомкнулся на западе, но зато на противоположной восточной стороне появилась темная полоса, распространяющаяся к горизонту, и на ней сверкали звезды. Ловель понял, что роковой момент кончился и комета постепенно удаляется.

Отравлен ли воздух? Погибли или нет люди и животные?

Он позвал другого инженера и оба отправились в вещевой склад, где также находился иллюминатор. Подняли стальную плиту и ставни.

Изумительное зрелище представляла долина. Пушки по-прежнему смотрели черными жерлами. Но людей около них не было. Толпа собралась в кружки, посредине которых возвышались трибуны и с них, по-видимому, говорили ораторы, отчаянно жестикулируя, то указывая на небо, то на дом королей.

«Онисовещаются, — понял Ловель. — Воздух не отравлен».

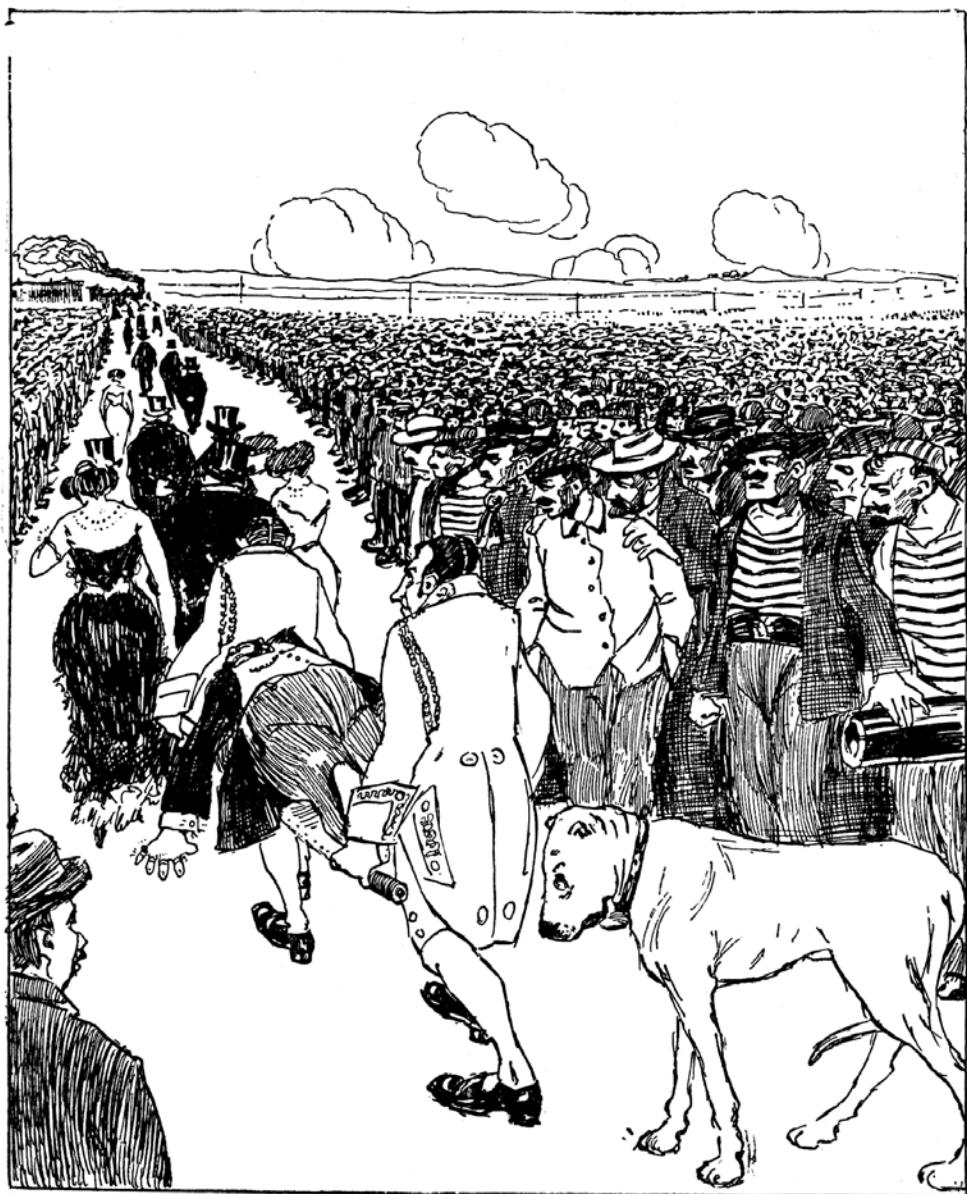
Инженеры, не отрываясь, смотрели в окно.

Толпа зашевелилась, разбрелась по группам, вновь слилась и, наконец, выдвинула десять человек с огромным белым знаменем. Ясно видны были саженные буквы надписи:

«Примите депутатию или мы взорвем вас на воздух».

• • • • • • • • •

Депутация поставила крутые условия.



Короли должны были уплатить 10 миллиардов на различные общественные нужды.

Сверх того, требовалось, чтобы они немедленно удалились из дома и прошли пешком до ближайшей станции железной дороги.

— Жизни вашей не грозит опасность, — насмешливо успокаивали депутаты.

С пожелтевшими, обрюзгшими лицами, с мутными глазами, в которых был написан один животный страх, миллиардеры подходили к столу и подписывали чудовищные чеки.

Раздался выстрел и железнодорожный король тяжело рухнул на ковер. Из виска бежала тонкая струйка крови и в судорожно сжатой руке дымился револьвер...

Между двух стен плотно стоящих людей шли короли, их семейства, инженеры, врачи и слуги. Дамы так и остались в вечерних декольтированных платьях и бриллианты сверкали радужными огнями на их обнаженных бюстах.

Мерно, смотря в землю, шагали все, прогоняемые сквозь строй победившей толпою, и слуги несли труп самоубийцы, а сзади, опустив голову к земле и поджимая хвост между ног, уныло брел огромный ньюфаундленд.

Толпа молчала.

И вдруг загудели издали. Сотни тысяч голосов слились в один крик и, как удары бича, обрушились позорящие возгласы на шедших в смущении и стыде.

— Развенчанные короли! Развенчанные короли!

А на небе сверкала огромная звезда в зените и огненный полог все шире открывался с восточной стороны, освобождая землю от шатра смерти и призывая к новой жизни.

ЗАГОВОР «БЕЛОЙ КУВШИНКИ»

Фантазия

I

Черная Смерть гналась за Сином по пятам.

Одно за другим целые семейства обращались в свалку отвратительных трупов. Почекневшие, неузнаваемые, валялись они на улице, на пороге домов с погасшими очагами, внутри фанз, зияющих открытыми дверями. Оттуда, заслышавши шум шагов, выбегали собаки и провожали проходящего злобными, блестящими глазами, вызывающе поднимая окровавленные морды.

Когда не будет трупов, собаки возьмутся за живых, но пока роскошествуют и привередничают, лакомясь мертвymi женщинами и детьми и брезгливо обходя старых и худых мужчин.

У Сина умерли все. Сначала мать, потом жена с грудным ребенком, две дочери...

Умер сосед — толстый китаец, ростовщик, и дом его разграбили, но так и не нашли, где хранил деньги хитрый Тан-Хо.

У колодца валялся скорченный труп знахаря, и на черном лице его смешно торчала кверху седая остроконечная бородка и шевелилась от ветра.

Син не боялся заразы. Вместе с другими грабил покойников и ворочал их, словно обрубки дерева. Был каменно-равнодушен к ужасам смерти, и только одна мысль преследовала и мучила его. Умрет Син и не похоронят его по обряду и никто не будет почитать его могилы, и злые духи овладеют его трупом.

И вспоминал Син с завистью, какое счастье выпало когда-то на долю его дяди. Был приговорен к смертной казни знатный китаец, а дядя вызвался его заменить и отдался в руки палача. И за это хоронили дядю со всеми почестями,

как богатого вельможу. Всякий человек должен заботиться о своих похоронах!



А тело Сина будет валяться на улице, и собаки будут терзать его, птицы хищные клевать, и растищат кости Сина.

И он решил бежать вместе с двумя другими. Только трое живых и остались во всем поселке...

II

В тайном обществе «Ненофара» или «Белой кувшинки» происходило заседание.

И на этот раз собрались одни «посвященные», для которых все открыто. И потому в беседе своей они не имели во рту двух языков и объяснились друг с другом совершенно откровенно.

Председательствовал старый, седой китаец, богатый, всеми уважаемый купец, в доме которого и собирались революционеры. Он открыл заседание краткой речью.

— Братья, посвященные в тайны, близок час, когда мы должны начать святое дело освобождения нашей родины. У нас два могущественных врага. Маньчжурская династия. Это первый враг наш, а второй: проклятые иностранцы. От них мы можем избавиться лишь одним путем. Научимся всем их изобретениям, заведем свое войско, свой флот. Обучим детей наших всей их мудрости. И раздастся по всему миру голос свободного Китая: руки прочь, белые дьяволы! Но, чтобы достигнуть этого, мы должны свергнуть ненавистную маньчжурскую династию.

— Долой проклятых маньчжиров! — крикнуло в один голос все собрание. — Долой врагов нашей свободы, нашего обновления!

И председатель сказал:

— Пусть каждый откроет, что он знает.

И с холодными каменными лицами, скрывающими бурное пламя, таящееся в душе, начали говорить «посвященные».

— Бог гнева обратил к нам ужасное лицо свое. Черная Смерть простерла крылья свои над Маньчжурией. Манзы бегут из родины, ставшей долиной смерти, и разносят чуму по всей империи. Члены нашего общества распространяют слух, что чума распущена нарочно русскими, чтобы овладеть Маньчжурией, когда она вся вымрет. И народ наш верит и еще больше ненавидит иностранцев. Но чума может погубить все наши предположения, и опять надолго отой-

дет в будущее счастливый день, когда над восставшим народом поднимется знамя «Белой кувшинки».

— Пусть теперь скажет слово брат наш, обучавшийся в Европе мудрости белых дьяволов, острогий косу и переменивший одежду, но сохранивший верность китайскому народу и ненависть к иностранцам.

— Вы говорите, что чума может погубить нас. А я скажу: Черная Смерть — наша покровительница. Свобода покупается всегда ценою человеческих жизней. Разве в первый раз родина наша видит гибель неисчислимого множества сынов своих, Китаю ли считать мертвых? Но Черная Смерть внушиает ужас иноземцам. Но чтобы еще больше охранить нас от покушения русских и всех европейцев, «Черная Смерть» пусть посетит их страны, и чума совьет гнезда в недрах их государств.

— Но белые дьяволы почти не умирают от чумы и границы охраняются.

— Надо ввезти чуму внутрь России, а потом и в европейские государства. Вы говорите, что европейцы почти не умирают. Это неправда. Не умирают богатые, чиновники, купцы. Когда у них дома бывают холера и другие губительные эпидемии, мрут сотнями бедняки, рабочие, крестьяне, а из богатых лишь немногие. Черная Смерть должна поселиться в их хижинах, фанзах, в ночлежных домах, вертепах, в домах, где селится бедность. Вы спросите, как ввезти чуму при охране границ? В этом поможет нам наука белых дьяволов, которой они меня обучили.

Их проклятая наука да послужит оружием против них!

— Что же надо сделать, брат, посвященный в тайны белых?

— Чумной яд можно сохранять в маленьких стеклянных трубочках, плотно заткнутых. Разве китаец не сумеет спрятать трубочку так, что ее не найдет белый досмотрщик? Там на месте яд нужно привить человеку. Пусть он ходит всюду! Ноcheет в ночлежных домах, целует женщин в домах наслаждения, обнимает пьяных, случайных товарищей бутылки! Пусть всюду тайно разносит страшный яд Черной Смерти! Когда она поразит белых дьяволов в самых недрах их

государств, не пойдут иноземцы к нам, полные забот о собственном спасении. И мы, члены «Белой кувшинки», совершим все, что нужно, не боясь иностранного вмешательства. Звезда свободы засияет над Китаем, и он возгласит: «Вы хотели растерзать меня на части — теперь я восстаю на вас, и покорю вас, и сделаюсь владыкой всего мира, и Великий Дракон обовьет кольцами земной шар, и тысячи тысяч пастей его изрыгнут огонь на сопротивляющихся».

И возбужденное собрание воскликнуло в один голос:

— Да будет так!

Но, когда шум прекратился, председатель спросил:

— Где же найдешь ты, брат, человека, который согласился бы привить себе губительный яд и умереть злую смертью?

— Я найду таких людей среди манз. Я знаю, что обещать им за смерть.

И председатель сказал:

— Касса общества «Белой кувшинки» открыта для тебя.

И отныне имя твое: «Брат Черной Смерти!»

III

Черная Смерть гналась за Сином по пятам.

В недалеком расстоянии от деревни упал один из товарищей, несший мешок с косами, отрезанными у чумных трупов. Волосы мертвых думал он продать за хорошую цену лысым китайцам, которые вынуждены носить подвязную косу, этот символ верности маньчжурской династии.

И, оставив корчиться в предсмертных муках товарища, двое бежали дальше.

На следующий день упал и другой, обремененный ношей награбленного добра. Он лежал навзничь, страшно сверкали белки выпущенных глаз, грудь трепетала, как крылья раненой птицы, и широко раскрытый рот ловил морозный воздух. Но неутасим огонь Черной Смерти, пожирающий внутренности.

И Син, оставив умирающего товарища, бежал дальше один.

И казалось Сину, что темное облако, бегущее по небу и бросающее тень на землю, не облако, а сама Черная Смерть, догоняющая свою жертву.

И чувствовал Син, что теряет сознание. Огненные кру-
ги мелькали в его глазах и расплывались, вытягивались, словно вырастали у них хвосты, и в безумии ужаса Син кри-
чал: «Дракон, Дракон!», и бежал дальше, пока не упал.

— Черная Смерть настигла меня, — сказал Син и от ужаса перешел сразу к тосклившему равнодушию.

Сознание заволакивало дымкой, отнем палило внутренности и снег не охлаждал жара.

— У него вовсе нет чумы. Просто усталость, продолжительное голодание.

— Странно! Манза, а похож на европейца. Если остричь ему косу...

— Тут нет ничего удивительного. В Маньчжурии всегда возможно смешение рас.

— Вполне подходящий для нас субъект. Только согласится ли?

—Должен согласиться!

Весь трепеща от восторга возвращающейся жизни, Син слышал эти речи над своею постелью, куда чья-то заботливая рука уложила его.

И говорили всегда двое: один в китайской одежде, другой в сюртуке, без косы. Но в обоих Син узнал соотечественников.

И, когда он выздоровел, ему сказали:

— Ты должен делать все, что тебе прикажут, и ты умрешь, но тело твое доставят на родину и похоронят, как мандарина.

И Син радостно согласился.

В первом классе сибирского экспресса, мчавшегося с Востока на Запад и уже перевалившего через Урал, ехал китаец, одетый по-европейски, и поражал всех остальных пассажиров изысканностью манер и знанием иностранных языков. С ним ехал слуга, без косы, напоминавший лицом полумонгольский тип сибирского казака.

Это были «Брат Черной Смерти» и преданный слуга его, Син.



Профессор Чижов только что захлороформировал крупную водяную лягушку и распял ее животом вверх на деревянной дощечке для вскрытия.

Лапки были приколоты большими булавками, белое брюшко поднималось и опускалось от дыхания, прекрасные огромные глаза смотрели печально, подернутые дымкой наркоза.

— А ведь она совсем похожа на человека, — с оттенком жалости сказал один из учеников-лаборантов.

Чижов расхохотался.

— В старину существовал какой-то чудак, уверявший, что в эпоху завров, птеродактилей и зубатых птиц люди плавали в воде в виде лягушек. Я сейчас вам покажу, насколько внутренние органы лягушки отличаются от человеческих.

Профессор взял скальпель и, попробовав его острие на ногте, готовился совершить кровавое дело — заживо вскрыть беспомощное животное.

— Можно войти? — раздался голос за дверью лаборатории.

— Входите! — крикнул Чижов, узнавая говорившего.

Регель был высокого роста, худой, сутуловатый, со взглядом исподлобья.

Когда он входил, хотелось спросить: «Убил ты кого-нибудь или только собираешься убить?»

Но после первого мрачного впечатления всякий убеждался, что этот насупившийся господин, в сущности, бесконечно добрый, отзывчивый человек, который не обидит и мухи.

— Ну, как ваши работы по палеонтологии? — спросил Чижов, дружески пожимая руку Регелю.

— Как всегда! Брожу в потемках и только изредка вижу просветы. Сделано так много, а в результате мы не можем ответить на самые простые вопросы.

— Например?

— Да вот хотя бы вопрос о происхождении человека. Дарвин наградил нас обезьяноподобным предком. Эта гипотеза подтвердилась находкой неандертальского черепа. Следовательно, во главе человеческого родословного дерева — обезьяна. Одна из пород стала прогрессировать умственно и постепенно сложился человеческий тип — *homo sapiens*.

Но вот нашли гейдельбергский череп*, и теория рухнула. Есть полное основание думать, что предок наш был человеком, существом интеллигентным, а обезьяна — продукт одичания и вырождения. Это соответствует и взглядам дикарей, которые убеждены, что обезьяны — одичавшие люди. Мне приходилось слышать от одного псаломщика негодящую речь: «Человек не может происходить от обезьяны, ибо обезьяна есть карикатура и больше ничего». И представьте, он, оказывается, прав.

— Хорошо, но ведь это только прогресс науки. Вы сами себе противоречите, так как даете на вопрос прямой ответ.

— Допустим. А откуда взялся человек — общий предок прогрессирующей человеческой породы и регрессирующей обезьяней? Вопрос стал еще запутаннее.

* Точнее, челюсть, найденная в 1907 г. близ Гейдельберга в Германии; этот ископаемый вид людей, считающийся предшественником неандертальца, получил название «Гейдельбергский человек» (*Homo heidelbergensis*).

Чижов только покачал головою:

— Вы, кажется, научный фантазер, мой милый, а я старый позитивист и с вашего разрешения приступлю к вскрытию лягушки.

Регель только сейчас обратил внимание на распостертое тело земноводного и протянул руку, словно защищая его от профессорского ножа.

— Нет, оставьте! Пожалейте! Посмотрите, какие у нее печальные глаза. Она смотрит чисто по-человечески.

— То же самое говорит мой ученик. Он утверждает даже, что лягушка очень похожа на человека.

Регель вздрогнул и пробормотал странным голосом:

— И он прав!

— Я не хочу присутствовать при вскрытии, — сказал он громко, — я пойду и подожду вас в кабинете. Не мучьте ее слишком, бедную.

Провожая его глазами, Чижов не удержался бросить ученикам:

— Вот чудак-то! Расчувствовался над лягушкой!

Через полчаса оба ученых сидели в кабинете за бутылкой золотистого хереса с бисквитами.

— А знаете, я не ожидал от вас такой сентиментальности. Положим, вы возитесь с костями давно умерших животных, но ведь должны же вы были изучать и живые, современные экземпляры.

— Я изучал.

— И делать вскрытия, производить вивисекции?

— Я производил, и произвожу.

— Но как же понять вашу защиту лягушки?

Регель долго не отвечал.

— Не знаю сам, — начал он наконец, глухим голосом, — почему вы мне внушаете особое доверие и я готов вам рассказать то, что хранил до сих пор в тайне от всех. Впрочем, лучше я пришлю вам мою рукопись, дневник. Можете его оставить у себя навсегда. Но, читая, не утешайтесь мыслью, что я или мистификатор, или сумасшедший. Все до последнего слова только правда, ни тени выдумки.

Через два дня Чижов получил рукопись и так увлекся

ею, что читал два дня, ничем более не занимаясь.

Встретив Регеля, он сказал:

— Коллега, я прочел все. Самое лучшее, если мы никогда не будем говорить об этом. Но вы достигли своей цели: я не буду больше резать лягушек.

Регель крепко пожал ему руку.

С тех пор прошло много лет. Умерли оба ученых, и рукопись Регеля купил я на аукционе вещей в квартире Чижкова.

Дневник очень объемист, и я сделал из него экстракт, который я отдаю на суд читателей.

Рукопись д-ра Регеля

I

В 25 лет я был одержим страстью к путешествиям, у меня были хорошие средства, но, что еще важнее, непочатые молодые силы и цветущее здоровье.

Мне удалось найти двух товарищей с такими же вкусами и стремлениями, как и мои.

Мы объездили множество стран, совершая длинные путешествия пешком и подвергаясь иногда страшным опасностям от стихий, хищных зверей и дикарей.

Однажды, бродя в области Скалистых гор, мы заночевали в одной долине, окруженной с трех сторон гигантскими каменистыми стенами.

В долине бежал ручеек и росли какие-то кустарники. Таким образом, мы имели все для лагерной стоянки. Развели костер и зажарили убитую днем дичь. Наевшись, мы легли спать, причем по обыкновению один из нас сторожил, сменяясь с товарищем через каждые три часа.

Моя вахта наступила под утро. Было прохладно, над долиной стоял туман, и я возобновил костер, чтобы согреться.

Легкая дремота то и дело овладевала мною, и я с огромными усилиями боролся с нею. Обыкновенно принято думать, что самое тяжелое дежурство — ночное. Это неправда. Именно утром у здорового человека сон хотя и не так крепок, как с вечера, но, если можно так выразиться, особенно навязчив. Словно липнет что-то к тебе, словно чья-то рука то и дело закрывает глаза и не успеешь оглянуться, как уже находишься во власти легких утренних видений.

В одну из таких минут до моего слуха донеслись странные стонущие звуки, я быстро очнулся и стал прислушиваться. Кругом царила тишина, и стоны надо было отнести, по-видимому, к сонному обморачиванию.

Чтобы не поддаваться больше дреме, я закурил трубку. Туман начал розоветь, и его плотная пелена под горячими стрелами солнца задымилась, пошла волнами и заклубилась.

Местами уже обозначались просветы. Скоро надо было готовить завтрак.

Вдруг опять раздался стон. Он несся, по-видимому, от истока ручья, и я весь насторожился. Мое охотничье ухо различало хорошо крики и голоса различных животных.

Но теперь в этих странных звуках я не различал ни плачливого голоса гиены, ни стонов некоторых пород птиц, обманывающих неопытных полным сходством с плачем ребенка.

Стон повторился. Теперь я уловил переливы человеческого голоса. Несомненно, кто-то страдает там, вверху ручья, нуждается в моей помощи.

С порывом молодости я, схватив ружье, бросился бежать вдоль ручья. Туман почти рассеялся, и солнце заглянуло во все закоулки долины.

Стоны усиливались, и я уже не сомневался, что они принадлежат человеку. Я почти добежал до стены, которой заканчивалась долина, но ничего не видел.

Остановившись, чтобы перевести дыхание, я стал внимательно смотреть кругом. Ничего. А стоны, как нарочно, прекратились. Наконец, около одного куста я увидел что-то белое и бросился туда.

Что это? Не продолжаю ли я спать у костра и воображение мое создает чудовищные химеры?



Где найду слова, чтобы описать необычайное существо, судя по ослабевшему голосу, доживавшее последние минуты!

Оно было ростом не более полутора аршина и *общим видом напоминало человеческую фигуру*. Но, вглядываясь ближе, я не мог признать его одной породы со мной.

Оно лежало на спине, и солнце ярко освещало большой белоснежный живот, такого же цвета грудь с довольно непредeterminedными женскими формами и большое выпятившееся горло, находившееся в постоянном движении. Раскинутые руки и ноги очень походили на человеческие, хотя бедра были гораздо толще и длиннее. Пальцы были очень

длинны и соединялись между собой плавательной перепонкой.

Но изумительнее всего была голова. Шея совершенно отсутствовала. Нижняя челюсть была поднята вверх, сильнее, чем если бы мы закинули назад голову. Огромный рот тянулся почти до ушей. Нос маленький, приплюснутый. Но глаза! Я никогда не забуду их страдальческого выражения. Величиною с яблоко, они были темно-синего цвета, и в них выражались, несомненно, и человеческие чувства, и признаки человеческого разума.

Я нагнулся и дотронулся до диковинного существа. Кожа скользкая, влажная, но не холодная, как у гадов, что указывало на внутреннюю животную теплоту.

Не зная, что предпринять, я решил вернуться к товарищам и втроем обсудить это необычайное происшествие.



В это время надо мною вдруг потемнело, послышался взмах могучих крыльев, и на землю опустился громадный горный орел. Он быстро закогтил странное существо, уже

не подававшее признаков жизни, и поднялся с ним на воздух.

Растерявшись от неожиданности, я не успел выстрелить, и орел скрылся со своей добычей за зубчатым краем скалы. Надо было спешить в лагерь. Товарищи могли проснуться каждую минуту, и я мысленно уже слышал их брань и воркотню по поводу неприготовленного завтрака.

Но тут внимание мое обратило одно необъяснимое на первый взгляд обстоятельство. Ручей у истоков был так же широк и глубок, как и ниже, а до каменной стены оставалось всего сажень десять.

Я решил исследовать, откуда берется поток воды, и дождался стены. Здесь сразу все объяснилось.

Внизу стены находилось большое отверстие аркой, из которого вода и устремлялась наружу с довольно значительной силой. Очевидно, подземный ручей пробил себе здесь дорогу на поверхность земли.

II

Я ничего не сказал товарищам о виденном мною странном существе. Они бы, конечно, не поверили и только посмеялись надо мною. Да и самому мне через два дня все это показалось совершенно невероятным, и я готов был с натяжкой признать, что просто спал у костра и видел необычайный сон, навеянный дикой природой Скалистых гор.

Мы продолжали свое странствование, и на ночь обыкновенно останавливались в одной из многочисленных долин, удивительно похожих друг на друга.

Но через неделю мы набрели на долину гораздо большую, далеко уходящую в глубь гор и раскинувшуюся цветущей поляной с рощами и небольшим озером.

Все сулило большую охоту, и мы остановились здесь на несколько дней. Даже устроили шалаш из ветвей на берегу озера под сенью трех громадных деревьев.

В два дня мы настреляли столько дичи, что могли бы

питаться целых две недели. Имея в виду, что при дальнейшем путешествии нам придется пройти почти бесплодную местность, решено было заняться копчением и вялением.

Я проявил к этому делу очень мало способностей и продолжал бродить по долине.

Однажды я зашел очень далеко и не заметил, как стало темнеть. Возвращаться назад в темную безлунную ночь было трудно, к тому же я порядочно устал.

Я стал отыскивать для ночлега какое-нибудь углубление в скале, но долго ничего не находил.

Стены шли гладким уступом. К концу долины строение горы, однако, значительно изменилось, и я уже готов был остановиться на одной неглубокой пещерке, но там весь пол был засыпан острыми камнями, а расчищать себе ложе было слишком большой работой.

Я пошел дальше и натолкнулся сразу на широкий вход аркой. Войти можно было, не сгибаясь. Это был узкий коридор, приведший меня в большую пещеру. Я засветил электрический фонарик, но его света было недостаточно, чтобы разогнать мрак, по-видимому, очень высоких сводов.

Мне пришло в голову, что я здесь внутри могу развести костер и заняться приготовлением убитой утки.

Собрать несколько охапок сухих веток и разжечь большой огонь было делом всего получаса.

Костер осветил гораздо больше пространства, но все же *я не мог составить себе понятие об истинных размерах пещеры.*

За ужином рассуждал вслух сам с собою и хвастался, что сделал замечательное открытие.

Наверно, эту пещеру назовут моим именем. Пещера Регеля! Завтра с товарищами мы произведем подробное исследование и составим описание. Может быть, найдем что-нибудь замечательное.

Я радовался, как дитя, своей находке и заснул среди образов, созданных фантазией. Если бы я знал, что меня ожидает впереди, я бежал бы из этого проклятого места, откуда вернулся поистине чудесным образом!

О том, что наступило утро, я узнал по потоку света, вли-

вавшегося через коридор в пещеру.

Правда, наверху все еще густился мрак, но был освещен пол и противоположная стена.

Пещера оказалась действительно громадной, но составляла, очевидно, лишь часть лабиринта, потому что виднелся вход во второй коридор.

Съев остатки утки и запив горячим чаем, я поспешил к товарищам.

Мы составили настоящий военный совет, на котором было решено запастись в изобилии провизией, наполнить все имеющиеся сосуды водой и произвести полное расследование пещеры.

Для факелов мы нарубили смолистых ветвей. Кроме того, у каждого был электрический фонарь.

На следующий день утром мы углубились в толщу гор и в трепетном ожидании чудес прошли второй коридор. Он привел нас в пещеру меньших размеров, но изумительной красоты благодаря отложениям известковых солей, сверкавших при свете факелов, как драгоценные камни.

После четырех последовательных зал мы попали в пещеру необъятной величины и, сделав несколько шагов, убедились, что находимся на берегу подземного озера.

— Эх, если бы у нас была лодка! — вырвалось у одного из товарищ.

Пришлось озеро обойти кругом. По дороге мы сделали остановку и плотно поели. Неподвижная гладь озера, освещенная красным пламенем костра, таинственный мрак недр земли, странное эхо наших голосов подействовали на меня удручающее, и, подчиняясь тяжелому предчувствию, я стал звать товарищей и предложил им дальнейшее расследование отложить на следующий день.

Мое предложение было встречено смехом и упреками в трусости, мы пошли дальше. Большая арка указала нам путь в неизвестное.

Коридор был очень высок, но вскоре он раздвоился, и мы остановились в недоумении на распутье.

Что предпринять? Какого направления держаться?

Мне пришла несчастная мысль разделиться. Бросили



жребий, и мне досталось идти одному. Мы сердечно по-прощались, разделили провизию и запасы воды и бодро двинулись: я — по правому коридору, они — по левому...
Больше мы не видели никогда друг друга в жизни!

III

Через четыре часа мы должны были вернуться к распутью.

Я быстро справился со своей задачей.

Правый коридор привел меня в пещеру, из которой, по-видимому, не было другого выхода. Весь пол был усеян костями огромных допотопных животных. Я тогда был слаб по палеонтологии, но теперь могу с уверенностью сказать, что это были скелеты гигантских ящеров.

Осмотр занял все-таки много времени.

Прошло с лишком четыре часа.

Товарищи, верно, меня ждут.

Но никого не было. Я просидел часа полтора, нервно куря трубку, но они все не показывались. Дело становилось серьезным. Я пробовал кричать. Выстрелил из револьвера. Звуки со страшным грохотом, отражаясь тысячу раз, понеслись вглубь.

Все смолкло.

Наконец ожидание стало невыносимым, и я решил пойти навстречу товарищам. Левый коридор сначала ничем не отличался от правого, и я шел, тревожно глядываясь в темноту, едва освещаемую маленьким фонарем. Факелы все догорели.

Сколько времени я шел так?

Вероятно, не менее двух часов. Часы мои остановились, но я сужу по страшной усталости, которую испытывал.

Краткий отдых не дал мне облегчения.

Воздух был пропитан сыростью, и температура его была не меньше 25° по Ц.^{ельсию}. Это напоминало атмосферу оранжереи.

Я решил вернуться.

И опять шел долго-долго, до полного изнеможения сил.

Казалось, я должен был достигнуть распутья, но коридор тянулся все по-прежнему то по прямой линии, то изгибаясь вправо и влево. Воздух становился все жарче и душнее.

Наконец, я понял, что заблудился. Жестокое отчаяние овладело мною. Я плакал, бился головою о стену, кричал до хрипоты и зачем-то стрелял...

Несколько часов провел я в беспамятстве, а очнувшись, поддержал свои силы едою и выпил последнюю воду. Необходимо было искать выход. Жажда вскоре начала томить меня.

Были минуты, когда я готов был застрелиться. Я уже приставлял револьвер к виску, но жажда жизни каждый раз побеждала.

Наконец, я упал, и мне казалось, что сейчас наступит смерть.

Странный шум, напоминавший морской прибой, долетел до моего уха. Все же это было что-то новое, и я употребил последние силы, чтобы встать и идти.

Коридор круто заворачивал влево.

Шум усилился, но нечто другое заставило меня радостно вскрикнуть. Впереди через небольшое отверстие виднелся свет, и лица моего коснулась легкая струя воздушного тока.

Я побежал, спотыкаясь о груду камней, добрался до отверстия, заглянул и весь замер от изумления.

Это было окошко в другой мир, который еще никогда не отражался в глазах человека.

Я увидел обширное море, по которому ходили волны, разбиваясь о берег.

Вверху клубились густые облака. Освещение было желтовато-красное, так же, как бывает иногда у нас при закате солнца.

Справа чернел высокий лес.

Я решил во что бы то ни стало выбраться наружу. Один вид воды приводил меня в безумие. Раскидать камни, увеличить отверстие было бы нетрудно, но я страшно ослаб и только силой воли победил все затруднения.

Вылезши, я бросился к морю. Вода оказалась горько-соленой. Я разделся и выкупался, что сразу меня освежило, и поспешил к лесу, где надеялся найти какую-нибудь пищу.

Вид растительности привел меня в новое изумление. Я видел такие деревья только на картинах. Гигантские папоротники и хвощи, внизу лишай, мхи, грибы, все в преувеличенных, сказочных размерах. Я видел улитку длиною около аршина, и жука ростом с сенбернарскую собаку. Громадные черви, которых я сначала принял за змей, ползали в гнили и сырости леса.

Мучимый голодом и жаждой, я попробовал есть молодые побеги хвоиц. Большинство имело водянистый вкус, но я напал и на мучнистые, сладковатые, которыми мог ути-



шить терзания желудка.

Я старался не удаляться от моря и держался в виду его. Сильный шум заставил меня оглянуться на водную гладь. Там вспенилась волна, и из нее показалась отвратительная, чудовищная голова.

Она поднялась на длинной шее, изогнулась в форме лебединой и вдруг поднялась высоко вверх. Казалось, поднялся целый столб, увенчанный головой крокодила.

Голова метнулась и схватила одну из больших птиц, стаей носившихся над морем. Послышался лязг челюстей, птица исчезла в пасти, а чудовище успело схватить уже другую. Остальные разлетелись с пронзительным криком, а голова вновь опустилась в морскую бездну.

Я продолжал путь.



Судьба столкнула меня с другим чудовищем.

Этого я знал по учебнику геологии. Оно принадлежало к сухопутным ящерам и шло, ломая на пути деревья гигантской тушей и волоча за собою длинный хвост. Маленькая сравнительно голова и тонкая шея совершенно не соответствовали грузному тулowiщу. Чудовище срывало побеги с деревьев и пожирало их. Оно мирно паслось, как пасутся наши коровы.

Я все же поспешил уйти подальше.

Дорогу мне пересекла довольно широкая речка. Вода в ней оказалась превосходного качества, и я совершенно утолил жажду.

Переплыть речку я не решился и пошел вдоль ее берега.

Она вскоре расширилась, образуя большую заводь.

Удивительные звуки заставили меня остановиться и прислушаться.

Из кустов слышался целый хор голосов, не лишенный некоторой стройности.

—А-а-а-а... у-у-у-у...

И потом резко:

—Э-э-э-э-э-э!

Я пробрался через гигантские мхи и заглянул, старательно прячась сам.

Мне представился большой залив, по-видимому, неглубокий, так как местами со дна поднимались моховые кочки и сама вода заросла высокими травами.

Повсюду на берегу, на кочках, наполовину высунувшись из воды, сидели огромные лягушки. Некоторые достигали высоты двух аршин. Все они были увлечены концертом, и их белые горла находились в постоянном движении.

Я невольно вспомнил о странном существе, выброшенном ручьем в долине. Но то гораздо более походило на человека, эти же отличались от лягушек только большим ростом.

Вскоре я разобрался в звуках и понял, что это к этому грубому хору примешивается другой, более нежный, несущийся с правой стороны залива.

Осторожно пробираясь по берегу под защитой мхов, я наконец нашел и вторую группу артистов.

Эти сидели на берегу около целого городка хижинок, грубо слепленных из ветвей и грязи.

Я сразу узнал странные существа, одно из которых унес на моих глазах орел Скалистых гор.



Люди, похожие на лягушек, или лягушки, похожие на людей.

Сидели они так же, как и настоящие земноводные, с согнутыми под острым углом ногами, между которыми помещались передние конечности.

Но ходили на двух ногах. Ходили тяжело, грузно, часто падая и переходя в лягушечьи прыжки. Их пение напоминало человеческий голос и было мелодично и заунывно, хотя основной мотив остался тот же.

Я не нахожу этих существ безобразными. У них такие прекрасные синие глаза, такое детское, жалобное выражение глаз.

За два дня, проведенных мною около залива, я имел возможность наблюдать этот странный народ. Их нравы произвели на меня самое лучшее впечатление. Они никогда не дерутся, не обманывают друг друга и очень любят детей, маленьких, смешных человеко-лягушат.

Старики и старухи отличаются огромными отвисшими животами, не в состоянии ходить на двух ногах.

По-видимому, эти существа не лишены дара слова и обмениваются друг с другом особыми разнообразными звуками, состоящими почти из одних гласных.

Я заметил также, что лягушкоподобные относятся с долей презрения к настоящим лягушкам и не входят с ними в общение, держась отдельно.

Люди-лягушки нуждаются в частом купанье и, говоря по совести, плавая в воде, мало отличаются от настоящих лягушек.

Я видел их общественное собрание.

Да, несомненно, они обсуждали совместно общие вопросы. Рассаживаются на берегу. Один, старейший, мурлыкает особым образом, другие слушают внимательно. Потом начинают отвечать, иногда в одиночку, иногда хором.

В одно из таких собраний случилось ужасное несчастье. Налетела стая огромных птиц, в раскрытых клювах которых виднелись ряды острых зубов.

Все бросились к землянкам, но птицы успели унести троих взрослых и нескольких детей.

Когда хищники улетели, народ вышел опять на берег и затянул жалобную песню:

— А-а-а-а...

Скорбный стон окончился душераздирающей трелью, и мне показалось, что эти существа способны плакать. Они

утирали лапками свои прекрасные синие глаза.

Я крайне жалею, что не мог подробнее наблюдать жизнь и обычаи людей-лягушек. На третий день я углубился в лес в поисках пищи, устал и решил выкупаться в каком-то ручье.

Но едва я опустился в прохладные воды, меня подхватали и понесло стремительное течение. Я боролся изо всех сил, но пенистый поток увлекал меня все дальше, ударили о камень, и я потерял сознание.

Очнулся я на берегу ручья, протекавшего по долине.

Совершенно без одежды, оружия и припасов, я едва не погиб, но, к счастью, меня спасла партия промышленных охотников за козами.

Я не смею делать каких-либо выводов из того, что видел, но иногда мне приходит в голову, что человек был счастливее, когда был лягушкой...

Передо мной на короткий миг открылся мир прошлого, и занавес вечности опустился вновь над тем, чего, быть может, не должен видеть человеческий глаз.

P. S. Рассказ д-ра Регеля может показаться читателю плодом болезненной фантазии. Долгое блуждание по подземному лабиринту, страшная усталость, жажда и голод, действительно, могли вызвать у Регеля бредовое состояние, в котором он видел людей-лягушек.

Весьма неправдоподобным, на первый взгляд, кажется описание пещеры, освещенной неизвестно каким источником света, причем ощущался и ветер, и подземное море волновалось и производило шум прибоя. Однако, при очень больших размерах пещеры возможны нарушения равновесия атмосферы вследствие местного повышения или понижения температуры, а следовательно, и образование воздушных течений. Труднее объяснить источник света. Не следует, впрочем, забывать, что далеко не все световые явления объяснены удовлетворительно наукой. Много ли мы знаем, в сущности, о природе полярных сияний или о зодиакальном свете? В низших слоях атмосферы наблюдаются ино-

гда странные световые явления, например, огни св. Эльма, появляющиеся на корабельных снастях, огни Кастора и Поллукса, всегда состоящие из двух огненных языков, долго держащихся над шпилем высокой башни или колокольни. Обыкновенно, принято относить эти явления к электрическим феноменам, что вполне вероятно, но не объясняет, почему в данном месте появились такие-то огни, в другом — другие, а в очень многих местах не появляется никогда никаких таинственных огней. В пещере Регеля могли быть светящиеся облака, скопившиеся под высокими сводами.

Что касается главного, то есть людей-лягушек, то необходимо пояснить читателю, мало знакомому с наукой, следующее:

Биология установила, что все животные произошли из первичной клетки путем постепенного развития под влиянием внешних условий, борьбы за существование и, может быть, особого стремления оживленной материи усложняться и совершенствоваться. Для доказательства этой теории существуют два пути: палеонтология и эмбриология. Наука об ископаемых пытается установить непрерывную цепь между существами, населявшими землю в различные эпохи, и современными. К сожалению, сохранились кости лишь немногих животных, особенно некрупных. Удалось, однако, например, установить связь между ящерами и птицами через промежуточные типы. Относительно человека и обезьяны мы не имеем ни малейшей надежды открыть скелеты предков в восходящем порядке. Но теоретически на вопрос: «существовал ли предок человека, современник заврор и древовидных папоротников?» — мы должны ответить скорее положительно. Предок этот по тогдашним условиям жизни на земле был, несомненно, земноводным животным, а принимая во внимание, что потомки явились интеллигентными существами, вполне допустимо, что и предок был не лишен некоторой рассудочности. Напомним, кстати, что в преданиях каждого народа существует представление о каких-то чудовищах, драконах и химерах. Нет доказательств, чтобы человек даже каменного периода мог видеть завров и птеродактилей, хотя бы уже вымирающих.

Вероятнее, что в мозгу земноводных предков запечатлелся образ чудовищных ящеров и память о них передалась в неясных образах и потомкам.

Но ведь тогда рассказ Регеля о людях-лягушках получает некоторое правдоподобие. Второй путь доказательства теории эволюции (постепенного развития) дает эмбриология — наука о развитии зародыша.

Зародыш человека за 9 месяцев утробной жизни повторяет всю историю происхождения человека. Вначале он напоминает низшие одноклеточные существа, потом — многоклеточные. Приближается к моллюскам и слизнякам и даже является двуполым почти до 40 дней. Но самое замечательное, что в известный период зародыш человека имеет признаки жабр.

Если мы сравним постепенное развитие зародыша человека и лягушки, мы найдем много сходства. Например, лягушка, как и человек, дышит только легкими, но головастик (будущая лягушка) имеет жабры...

Действительно ли видел д-р Регель мир прошлого или это только научно-фантастический бред, но рассказ его во все не так уже противоречит данным науки, как это может показаться на первый взгляд.

Многим покажется позорным и обидным, что предок человека — лягушка, которую принято считать за олицетворение безобразия. Большинство, особенно женщины, относятся к лягушкам с омерзением и страхом. Редко кто решается взять лягушку в руки. Но здесь мы уже попадаем в несознательную область предрассудков и тех нервных ощущений, которые заставляют женщин при виде бегущей, совершенно безобидной мыши вскакивать на столы и стулья и подбирать платья. В действительности, лягушка совсем не безобразна. Формы тела ее имеют своеобразную гармонию. Выражение кроткое, мечтательное, слегка печальное. Лягушки питаются насекомыми, что скорее приносит пользу, и ровно никому не причиняют вреда. Между тем, они подвергаются систематическому истреблению. Тысячами убивают их дети и даже взрослые ради жестокой и глупой забавы. Многие породы птиц и некоторые мелкие звери пи-

таются лягушками. На блюдо «лягушачьи филейчики под белым соусом» приходится убить сотни этих жалостных животных. Только огромная производительность спасает лягушек от окончательного вымирания.

Человеку вовсе не стыдно считать предком такое милое и кроткое существо, как лягушка, ему должно быть стыдно за крайнюю жестокость, с которой он относится к своим дальним сородичам.

ОСВОБОЖДЕННЫЕ ЗВЕРИ

I

Весенное солнце горячим светом заливало зоологический сад. Деревья стояли почти голые, с налившимися почками и лишь кое-где зеленели первыми чистыми листками. Пахло сырой, только что ожившее землею.

И сегодня, в воскресный день, сад был переполнен посетителями. Шли по дорожкам плотной толпой, тесня друг друга. Из-под огромных шляпок раздавалось почти беспрерывное женское щебетанье. Улыбались розовые губы, и звал к себе щекочущий девичий смех. Толстые женщины гордо несли огромные отвисшие груди, выкормившие собственную семью, и вели за руки нарядных живых кукол.

Молодые мужчины токовали, как тетерева, вокруг женщин.

Пожилые — смотрели на все ленивым взглядом, скучая от семейной прогулки и мечтая о водке и закуске на свежем воздухе.

И над толпой стояли душные испарения человеческих тел, смешанные с запахом духов, одеколона и пудры.

Животных перевели уже в летние клетки. Весенний воздух и присутствие множества людей взволновали пленников. Огромный тигр ходил быстро взад и вперед, углубленный в свои мысли, изредка злобно оглядываясь на толпу. Чета львов на виду у всех отдалась весенней страсти, а рядом одинокая львица надсаживалась в глухом угрожающем рыканнии.

Все беспокоились, двигаясь на пространстве нескольких аршин, и только рысь спокойно лежала в глубине клетки, таинственно поблескивая зелеными глазами.

Густо толпились посетители у клетки обезьян. Смеялись их ужимкам и гримасам, а бесстыдство самцов и самок вызывало циничный хохот мужчин и краску на лицах девушек, что не мешало им хохотать исподтишка.

Толпа, возбужденная солнцем, весенним воздухом и тысячами прикосновений тел в толкотне, дразнила хищников, сердила слона, бросая в его огромную розовую пасть мясо, которого он не терпел, кормила обезьян в расчете на свалку, надоедала оленям и ланям поглаживаниями по их голодным и ищущим мордам.

Люди торжествовали победу над животными. Живя в каменных ящиках, ходя по каменным улицам, охраняемым и безопасным, они не верили в ужасы дикого леса и грозной пустыни. И теперь издевались над пленниками и рядили в шуты тех, один вид которых на свободе внушал бы им смертельный страх и позорную трусость.

II

— Я знаю, о чем говорили животные, — сказал Марк.

— Это интересно! Расскажи! — встрепенулся Илья.

Оба сидели на отдаленной скамейке зоологического сада, чисто выбритые по-актерски, в новых весенних костюмах. Всего две недели, как удалось им бежать из сумасшедшего дома, причем были убиты два сторожа, а третий — опасно ранен. Таинственное преступление, взволновавшее всю столицу, зверское убийство целой семьи и грабеж — также дело их рук. Но никто не узнал бы сумасшедших или преступников в этих изящных молодых людях.

— Я знаю, о чем говорили лев и львица, — повторил Марк, раскуривая сигару. — Теперь весна, и кровь обращается сильнее даже в гнусной клетке, куда безобразные, слабосильные, розовые обезьяны без хвоста сажают красивых зверей. Львица говорила: «Я люблю тебя, дорогой муж мой, обожаемый герой, владыка пустыни». И она ласкала его и целовала в прекрасную гордую голову. «Люби меня». А он, царственный пленник, в тоске и гневе смотрел через железную решетку на подлую толпу людей, мечтал о свободе и кровавой мести. И, когда требования львицы стали настойчивее, он брезгливо отворачивался и говорил: «Как

можешь ты желать моих объятий здесь, в неволе, на глазах врагов наших, пришедших смотреть на позор наш? Стыдись!» Но лвица, как женщина, легче приспособляется ко всякой обстановке и всюду хочет быть самкой и матерью.

Она настойчиво ласкала мужа и возбуждала в нем чувство. Звала к наслаждению, упрекала в холодности и злыми словами изdevалась над ним: «Какой же ты мужчина, царь и герой, ты — старая, никуда не годная тряпка!» И он, гордый, забыв о царственном гневе своем, сдался, уступив просьбам и требованиям... Илья, видел ли ты его прекрасное, грозное лицо? Смотрел ли в глаза его? Сколько безысходной тоски и стыда выразили они, когда он обнял лвицу!

— Знаешь что, Марк? Судьба животных в неволе напоминает мне нашу судьбу. Люди признали нас сумасшедшими за то лишь, что мы пошли открыто против их пошлой морали, сорвали маску лицемерия и стали искренними в своих побуждениях и желаниях.

— Да! Отвратительная розовая обезьяна без хвоста слишком зазналась. Она прожила много тысяч лет, создала государство, настроила города, изобрела миллион способов для защиты своего подлого существования. И что же в результате? Жизнь жестокая и глупая, в тюрьме, в оковах правил, законов, обычаяев, жизнь, при которой гибнут красивые и сильные, а пошлость и трусость владеют миром. Илья, ты — музыкант. Я увлекался наукой. Скажи мне, стоит ли эта подлая толпа тех звуков, тех чудных мелодий, которые ты извлекал из скрипки? Для кого ты играл? Чей услаждал слух? Разжиревших до омерзения баб, молодых похотливых самок с птичьими мозгами, лживых, лицемерных, предлагающих себя на законное содержание, называемое браком? Лысых, с толстыми животами на тонких ножках мужчин, глупых, но полных напыщенного самомнения? Молодых дрессированных обезьян, отравленных уже гнусными болезнями? Они бросают тебе горсть золота, и ты за него отдаешь им, ничтожным и мерзким, свою душу, свой талант! Не думаешь ли ты исправить их, пробудить в них высокие чувства? Какой вздор! Ты просто играешь роль

массажиста у богатой старухи. Ты своими молодыми, бодрыми руками дотрагиваешься до ее омерзительного, дряблого тела, и она испытывает приятное волнение и улыбается тебе накрашенными губами и показывает вставные зубы...

— А наука? Разве она не ведет к торжеству пошлости и трусости?

— Поэтому-то я и скрыл от розовой бесхвостой обезьяны свое великое изобретение. Я открыл тайну силы тяготения и нашел способ бороться с нею и совсем ее парализовать. Все предметы на земле притягиваются к ее центру, и это на глупом языке розовой обезьяны называется весом. Я могу уничтожить вес тел, уменьшить и увеличить по своему желанию. Я овладел отрицательными, отталкивательными силами. Какая огромная будущность моего великого изобретения! Можно построить воздушный корабль из стальных плит — воздушный броненосец с пушками, принимающий на борт две тысячи людей экипажа. Он полетит легче пушинки. И он же может плавать на поверхности воды и опускаться на морское дно. Маленького аппарата достаточно, чтобы поднимать гигантские тяжести... Но я поклялся, что проклятая обезьяна не узнает о моем секрете и не воспользуется им для своих гнусных целей. Довольно ей обкрадывать гениев, чтобы ковать новые цепи для голода и труда...

Марк умолк. И долго сидели оба злые, взволнованные, нагнувшись и чертя тростями на песке дорожки неведомые знаки.

Илья поднял голову.

— Марк, знаешь что? Выпустим зверей на волю...

Марк дрогнул, выпрямился, глаза его засверкали.

— Браво! Браво!

И громко хохотали оба, смотря друг на друга.

III

— Помни, Илья, главное условие успеха: смелость и быстрота. Не обращай внимания на крики толпы, не бойся сторожей, не гляди по сторонам. Оба перепрыгнем через ограду. Я отобью замок у львиной клетки, ты — у тигра. Ставь зубило под углом в 30 градусов и бей молотком. Не стучи попусту. Удар должен быть сильный, полновесный.

Илья молча кивнул головой.

А толпа, как и в прошлое воскресенье, все прибывала и прибывала.

Как всегда, теснились у клеток хищников.

Матери и отцы поднимали детей, и они смотрели неморгающими, круглыми глазками, полными любопытства и страха. Красивая девушка, с высокой грудью и широкими вздрагивающими бедрами, делала вид, что крайне заинтересована львами, а загоревшееся ушко насторожилось и внимательно ловило вкрадчивые слова стоявшего рядом студента. Прижимала и отталкивала ищущую руку.

Дальше, в ту же ограду уперся толстым животом кто-то с крашеными усами и с кокардой на фуражке. В цветном, шелковом сарафане жирная, откормленная кормилица поводила коровьими глазами, останавливая их на животных и на мужчинах.

И, держась за руку усатого военного, тяжело вздыхала его беременная жена, охраняемая от толпы мундиром мужа. Рабочий, полупульянный, смотрел вызывающе и задевал нарочно «проклятых буржуев», завидя и ненавидя...

— Нельзя, господа, нельзя! — крикнул сторож.

Но было поздно. Двое, в охотничьих куртках и высоких сапогах, перескочили через ограду и ловко взобрались на каменный фундамент клеток.

Раздался стук и лязг отбиваемых замков.

— Господи, что они делают! Сумасшедшие! Остановите их!

Толпа замерла в ужасе, сбившись еще теснее. И даже вооруженный офицер не нашелся в эту минуту.

Замки слетели, и двери клеток быстро отодвинулись.

В жуткой тишине слышны были учащенное дыхание и робкое всхлипывание.

Лежавший лев встал во весь рост, сомневаясь и не веря, а нетерпеливая львица высунулась до половинки из клетки, обнюхивая воздух и ворча.

Раздался раздирающий душу крик. Тигр громадным прыжком взял расстояние и упал на кормилицу в ярком шелковом сарафане. Горячая, алая кровь брызнула фонтаном, окрашивая желтую шкуру хищника и светлое платье красивой девушки.

А тигр уже поднял окровавленную морду и могучим ударом лапы свалил чиновника с толстым животом.

С воем, рыданиями и криком толпа бросилась бежать, ломая молодые деревья, топча первые весенние цветы на клумбах.

Падали, поднимались, давили друг друга, теряя женщин и детей.

А за ними, огромными прыжками, неслись три хищника, убивая отставших.

— У-а-а! — кричали сумасшедшие. — Цирк Нерона, цирк Нерона!

Илья выхватил револьвер и пустил пулю вслед убегающим.

— Не надо! Оставь! — остановил его Марк. — Скорее к другим клеткам!

За решеткой бесновались пантеры, поднявшись на задние лапы, давилась грозным рычанием львица, визжала неистово дикая кошка, и рысь топталась с нетерпением у дверей, перебирая мягкими коварными лапами.

Замок слетал за замком, царственные кошки, выгибая спины, прыгали на опустевшую дорожку и бросались в ту сторону, откуда слышались отчаянные крики людей.

Выходные ворота завалило барахтающимися телами, и толпа отхлынула по дорожкам сада. Влезали на открытую сцену, пытались взобраться на забор.

Студент с девушкой бежали впереди.

— В клетку! — догадался он в минуту страшной опасности.

Это была гениальная выдумка, и ей многие последовали. Опустевшие клетки хищников переполнились людьми, и дверцы с трудом задвинулись. Человек добровольно заключил себя перед лицом зверя, вырвавшегося на свободу.

Сумасшедшие продолжали свое ужасное дело.

— К медведям! Скорей, пока не поздно!

Домик, где жили медведи, был рядом с буфетным зданием.

Выпущеные на волю, звери принюхивались нескользко мгновений и тяжело, с перевальцем побрели на вкусный запах, который давно тревожил их обоняние в неволе.

Люди, спасавшиеся в зале буфета, с воплями убежали при виде новых гостей. Медведи распорядились. Один старый, дрессированный, поднялся на задние лапы и стал шарить на стойке. Повалил большой графин с водкой и жадно стал лакать сбегающую струю алкоголя.

Сумасшедшие хотели. Вытащили бутылки из шкафа, отбили горла и вылили вино на пол. И вся семья медведей с подоспевшими медвежатами припала, радостно ворча, к пьяным лужам.

— Мы забыли обезьян! — крикнул Марк.

Беседая ватага с визгом и кривлянием разбежалась по саду. Только большой павиан почему-то озлился и ударил изо всей силы Илью по щеке, несколько раз оборачивался, визжал и грозил кулаком.

— Раскуем слона!

Огромная туша спокойно двинулась по дорожке. Но крики и шум взволновали его. Слон поднял хобот и затрубил тревожные сигналы.

Это напомнило о пожаре.

— Театр! Подожжем театр!

Почти все звери были освобождены. Робкие и пугливые попрятались, хищники не заставали терзать людей, белый медведь пожирал теплый труп женщины, остальные медведи пьянистовали и скандалили в буфете. Театр пыпал, как факел.

Орлы, отвыкнув летать, долго бегали с криком, пробуя крылья и, наконец, поднялись.

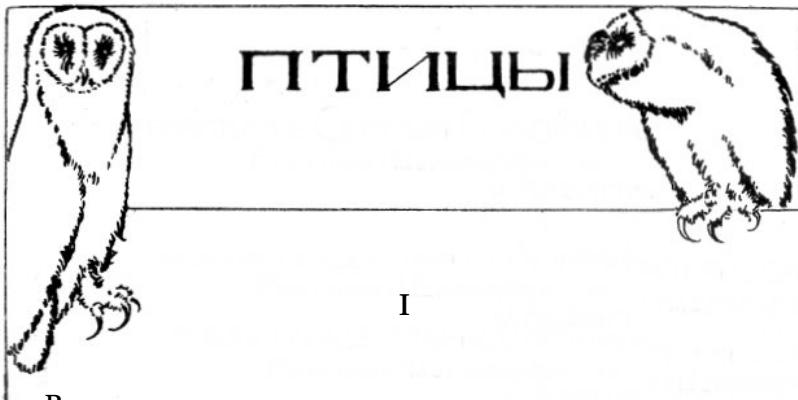
— Орлиный взлет! — восторгался Марк.

Сумасшедшие взобрались на крышу каменного павильона и любовались картиной разрушения.

— Смерть и ужас! Смерть и ужас! Звери отомстили! Хаха!

С улицы доносились грохот и звонки подъехавшей пожарной команды. Сад наполнился полицейскими и солдатами. Захлопали сухие выстрелы винтовок. Люди были спасены.

Но, покрывая треск горящего здания, крики, стоны, рев убиваемых животных, в бездну ужаса врывался сверху торжествующий хохот безумия.



I

Веретьеву ни в чем не везло.

После смерти матери, зарабатывавшей переводами и дававшей ему комнату и стол, он остался на собственных руках.

Делать, в сущности, ничего не умел. Бегал по урокам, но при громадном предложении в столице труд этот окончательно обесценен и даже самый дешевый урок найти часто невозможно.

Пришлось бросить мысль о государственном экзамене. Страшным призраком встала нужда. Тут уж не до рассуждений, где и как достать средства на жизнь, лишь бы не умереть на улице голодной смертью, лишь бы не дойти до полного падения, не забоячить.

Кое-какие связи его покойной матери с редакциями газет дали возможность пристроиться репортером.

Но выдвинуться он не сумел. Заработок был ничтожный, ночевал то там, то здесь у товарищей-репортеров, приучился сидеть часами в ресторанах и портерных и, когда близился час их закрытия, выдумывал, где бы провести ночь. Часто спал в редакции газеты на диване, подложив кипу старой бумаги под голову.

Каждый день, как бы ни был занят Веретьев беготней по городу в поисках известий для «хроники», он непременно попадал в маленький, грязноватый ресторан, куда заходили и другие репортеры, а при удачном заработке собирались компанией и кутили.

Даже когда в кармане было всего несколько копеек и

приходилось забыть об обеде, Веретьев садился за столик и тянул потихоньку кружку пива, просматривая газеты и журналы и, ожидая, не подойдет ли кто из знакомых.

В трезвые минуты одиночества Веретьеву становилось бесконечно жаль себя и он мысленно спрашивал кого-то: за что?

До смерти матери он жил иначе, никогда не голодал, не занавивал белья, был всегда такой чистенький, любующийся собственным здоровым телом. Выработалось стремление ко всему изящному, красивому, всякая грязь внушала омерзение.

А теперь донашивает последнее платье, сапог дырявый, белье не менял больше месяца, все тело зудит и только водка, одурманивая голову, заставляет забыть ужас жизни.

И, сидя в ресторане один за кружкой пива, Веретьев часто задумывался над будущим и пугался грозящей ему судьбы...

Около семи часов собирались репортеры, закончив свои дела в редакциях. Красавец Бондарев, о котором ходил слух, что он живет на содержании старухи, тоже бывший студент, развязно подошел к Веретьеву и хлопнул его по плечу.

— Ну, как дела, старина? Деньги есть?

— Какие там деньги! Не обедал вот два дня...

— И думаешь насытиться и напиться одной кружкой пива? Старая история! Пойдем к нам в кабинет, я сегодня угощаю. Собрались все свои. Да что ты мрачнее ночи, ходишь, словно собираешься нырнуть в Неву с Троицкого моста?

— Помрачнеешь, когда квартиры нет и есть нечего.

— Сам, милый, виноват! Не умеешь устраиваться. Жизнь не ждет и подарков не подносит вот таким благородным рыцарям, как ты.

— Знаешь, оставим лучше этот разговор.

— Ну, ну, не ворчи, старик! Сейчас мы тебя подвеселим.

Бондарев угощал на широкую ногу. Никто не спрашивал, откуда у него деньги, хотя все знали, что за неделю он получил в конторе всего 8 р. 25 коп.

Отдельный кабинет ресторана и так был набит битком,

но подходили все новые и новые сотрудники газет.

Пришел весь бритый, с одутловатым бабьим лицом репортер и торжественно помахал двумя двадцатипятирублевками.

— Кого, Митька, нажег?

— Спиридона. У него по случаю открытия нового магазина сегодня торжество. Угощал, разумеется. Подходит ко мне. «Распишите, — говорит, — в лучшем виде». Я говорю: «Это можно». Он при прощании мне и вручил.

— Врешь, врешь, Митька, наверное, чем-нибудь ему пригрозил. Знаем мы тебя! Так Спиридов и даст по доброй воле!

— А вот и дал!

Все поняли, что Митька истины не расскажет. Да и кто из них не прибегал к шантажу, когда подвертывался случай?

Из дверей выглянула лисья мордочка, а следом за нею крадущейся походкой вошел среднего роста человек в длиннейшем сюртуке, с какой-то особой, всегда кланяющейся спиной.

— Кана Галилейская! Воду в вино претворяете. Дайте, Бога ради, скорее водки, а то сейчас отправлюсь *ad patres**

— Что с тобою?

— Вкусная вкусила мало меду и се аз умираю. Сегодня утром закусил в чайной трескою и едва Богу душу не отдал. Подозрительный по холере случай.

Это репортер из семинаристов, хороший, усердный работник, но гибнущий от запоя, во время которого изводил всех текстами.

Стало шумно. Говорили, не стесняясь и не слушая друг друга. С откровенным цинизмом объясняли, кто взял взятку, кто сорвал куш шантажом. Вспоминали прежние подвиги и Митька рассказал о шубе.

— Это мы вот как сделали. У Нестерова была шуба енотовая. А я, по обыкновению, в пальто на стерляжьем меху. Пришли вместе в редакцию. Разумеется, заранее сговори-

* Здесь: к праотцам (лат.).

лись. Нестеров там что-то пишет, а я все хожу около прихожей, жду, когда швейцар уйдет. Только он отлучился, я сейчас пальто надел, а сверху нестеровскую шубу и был таков. На извозчика и в трактир «Красный гусь». Выходит одеваться Нестеров, шубы нет. Где шуба? Поднял страшный скандал. «У меня, — говорит, — шуба двести рублей стоит». Вышел сам редактор — Петр Николаевич. Кое-как уговорил Нестерова взять 65 руб., да пальто ему свое демисезонное дал, чтобы было, в чем выйти. Пальто это я взял себе, хорошее пальто, а деньги, разумеется, пропили. Ну, потом все это узналось и нас из редакции обоих поперили.

Компания громко хохотала.

Вдруг раздался удар кулаком по столу и зазвенели стаканы, упавшие на пол.

Все оглянулись.

Веретьев сидел бледный, с широко раскрытыми воспаленными глазами.

— Какая мерзость!

— Эге! — недовольно процедил Бондарев. — Старик, кажется, напился.

— Не упивайтесь вином, в нем бо есть блуд, — басил репортер-семинарист.

— Все вы — подлецы, негодяи, шантажисты, взяточники и сутенеры!

— Послушай, Веретьев, какое ты имеешь право ругаться? Если мы так плохи, зачем ты пришел к нам, сидишь с нами, пьешь нашу водку? Иди, проповедуй нравственность где-нибудь в другом месте.

Веретьев встал и заговорил перехваченным от волнения голосом:

— Постойте, выслушайте меня! Я вовсе не проповедую нравственности. Человеку все дозволено. Но не надо меняться на мелочи, купаться в грязи. Я ругаю вас не за безнравственность, а за мелочность, за пошлость, за то, что вы довольствуетесь нищенскими подачками, пачкая ради них свое имя, унижая свою личность.

— А ты что же: миллион сразу схватить хочешь?

— Нет, погодите! Выслушайте! Жизнь жестока, жизнь

безумно жестока! Надо сразу освободиться от ее кандалов. Напрячь все силы ума, всю ловкость, хитрость и взять от жизни столько, чтобы стать совсем свободным. А вы сорвите несколько десятков рублей, закутите, счастливы на одну ночь, а на завтра опять надо идти и унижаться.

— Да какой же дурак даст тебе сразу целое состояние?

— Я знаю, что не даст, надо отнять хитростью, обманом, силой.

— Ну, стариk, ты, кажется, допился до белой горячки. Ведь то, что ты предлагаешь, каторжными работами, милый, пахнет.

Вертьев грузно сел и стал пить стакан за стаканом, изредка смотря на всех посолевыми глазами и повторяя:

— Трусы, мелкие, жалкие трусы!

Бондарев увез его, совершению пьяного, к себе ночевать...

II

В излюбленном репортерами ресторане ежедневно, ровно в три часа дня, появлялась странная фигура, обращавшая на себя общее внимание.

Старуха, довольно полная, вся в черном, с громадным ридикюлем в руках.

Одета она была в старомодный лисий салоп, на голове черный капрон с остатками оборванных кружев, на ногах валенки.

Подходила всегда к одному и тому же столику и видимо сердилась, когда обычное ее место было занято.

Садилась на стул, а на другой клала ридикюль.

Потом хлопала три раза руками, одетыми в черные митенки.

Подходил лакей.

Неизменно заказывала обед в полтинник и бутылку кваса.

Ела жадно, словно набрасывалась на еду, и всегда ей не



хватало поданного хлеба.

Съедала все, что подают, не оставляя ни крошки. Потом так же жадно пила квас. Доставала мелочь, всегда так, что сдачи давать было не нужно. Забирала ридикюль и, уходя, окидывала зал странным, словно негодящим взглядом. Голова в капоре укоризненно качалась; губы беззубого рта, провалившегося под горбатым носом, словно жевали что-то, глаза смотрели страшными оловянными путовицами.

Поворачивалась полусгорбленной спиной и, грузно ступая ногами в валенках, медленно удалялась.

Веретьев давно интересовался диковинной старухой, но лакеи не знали, кто она такая.

— Сначала пускать не хотели. Думали, на бедность просит. Она к буфетчику: «Как вы смеете меня не пускать, когда я деньги плачу». Вынула кошелек и раскрыла у буфетчика под носом. Там рубли, золотые и мелочь. «Я, — говорит, — ходить каждый день буду, коли обед хороший». Буфетчик пустил. С тех пор дня не пропускает. Съест обед полтинничный, выпьет кваса, гравенник официанту на чай. Что же, старуха не вредная. А кто такая и где живет, дознаться не могли.

Веретьева поражала размеренность, даже как бы автоматичность движений старухи. Сегодня она с точностью кинематографа повторяла то, что делала вчера и что будет делать завтра. Однаково входила, однаково садилась, пила, ела и уходила, оглядев предварительно всю залу.

Голоса ее он никогда не слыхал. Лакеи знали, что нужно подать, а одно из двух горячих она выбирала, указывая пальцем на карточку.

Но пришел день, когда Веретьев увидел ее в новом свете.

В обеде было блюдо: цыплята под соусом, которое у многих гостей вызывало искреннее негодование и бурное объяснение. Но его продолжали подавать новым посетителям.

Дошла очередь и до старухи. Едва она отведала цыплят, как быстро вскочила.

Веретьев не узнавал ее. Стан выпрямился, жест — сильный, властный.

— Эй, человек!

Веретьев невольно вздрогнул. Голос был зычный, с хрипотой, чисто мужской голос.

Подбежал лакей.

— Это вы мне что такое подали? Да вы знаете, кто я? Меня при дворе знают, меня барон Икскуль фон Гильдебрант знает, Меллер-Закомельский знает, княгиня Юсупова-Эльстон, градоначальник знает. Да я вас в 24 часа закрою! Я хожу к ним каждый день, обедаю, плачу деньги, а они меня отравить вздумали. Никогда к вам больше не приду!

Все так же, высоко держа голову, она гордо вышла из

ресторана и сдержала слово: больше не показывалась.

Веретьеву было досадно, что не удалось выяснить эту странную личность.

«Стоило только пойти за нею, узнать, где живет, спросить дворника», — думал он.

И сам рассмеялся своим мыслям.

«Для чего это мне? Ну, узнал бы фамилию и адрес, а дальше что? Разве в газете ее описать, как редкостный петербургский тип? Снести в маленькую “вечернюю” в виде фельетона. Там такие штуки любят».



Прошло недели три и Веретьев стал забывать о старухе. Но однажды, ходя по улице без особого дела, в тщетных потугах выдумать деньги, он у встретил в одном переулке старуху и машинально пошел за нею.

Она шла, грузно ступая, до лавки, где пробыла довольно долго. Веретьев ее терпеливо ждал на противоположной стороне улицы.

Вышла и побрела вдоль переулка. Ридикюль ее заметно раздулся, видимо, от покупок.

Старуха исчезла под воротами. Она все время не оборачивалась назад, и Веретьеву ничего не стоило проследить за ней до дверей квартиры в большом каменном флигеле на дворе: № 27.

Вернулся назад под ворота и стал читать по доске квартирantов.

№ 27. Гр. А. О. Череванская.

Веретьев был поражен:

«А ведь она, пожалуй, не сочиняла, говоря, что ее знают и при дворе и разные высокопоставленные лица. Фамилия известная, громкая, графиня».

Рассеянным взглядом продолжал он скользить по доске.

№ 29. — Н. П. Калмыков.

Батюшки, да ведь это писатель, познакомился со мною в редакции, куда заносил рассказ, звал к себе! Отчего не пойти сейчас к нему? Кстати, он наверно знает что-нибудь о графине.

Калмыков, зарабатывавший деньги маленькими рассказами, которые умудрялся помещать чуть ни во все газеты и журналы, принял Веретьева очень любезно. Провел прямо в столовую, усадил.

— Наверно, не откажетесь выпить и закусить?

Познакомил с женой, которая оказалась прекрасной хозяйкой. Скоро весь стол покрылся домашними закусками, соленьями, маринадами.

Веретьева это гостеприимство, ласковый голос хозяйки, доброе бородатое лицо Калмыкова отогрели и он засиделся до позднего вечера.

— Куда же вам идти, переночуйте!

Веретьеву постелили тут же в столовой на стульях.

Сначала он было заснул крепко, но часа через два глаза раскрылись сами собою и, несмотря на все усилия, таращи-

лись в темноту. Вдруг ночную тишину прорезал дикий вопль, несшийся снизу. Потом что-то грохнуло, словно бросили на пол с размаху полено.

Вопль то замирал и слышался издалека, то совсем близко, под ухом, и можно было даже различить слова:

— Эгей! Я вот тебя, проклятого! Эгей!

И опять грохало на пол полено.

Это «эгей!» выкрикивалось страшным хриплым голосом. Веретьеву вспомнилось посещение им дома умалишенных. Там также неслись эти угрожающие вопли из камеры для буйных.

Усталость, однако, взяла свое и, поворочавшись, Веретьев уснул до утра.

— Ну, как провели ночь? — осведомилась за чаем хозяйка.

— Ничего. Спал отлично.

— А не пугала вас графиня? — спросил, усмехаясь, Калмыков.

Веретьев насторожился.

— Какая графиня?

— Самая настоящая: ее сиятельство Анна Олимпиевна Череванская, шифр из Смольного имеет, при дворе была принята, когда-то блистала в самом высшем обществе. А теперь живет одна, без прислуги, одета какой-то богаделенкой или приживалкой. Обедает, говорят, в дешевых ресторанах. А квартира вся полна птиц разных пород. Летают на свободе, все запакостили. Говорил дворник: грязь, вонь в квартире. Она, впрочем, дальше прихожей никого непускает.

— Она — сумасшедшая?

— Как вам сказать. Под опекой не находится. Поступки ее вполне разумны, особенно днем, а ночью вот буйнит.

— Что это она, с птицами ругается?

— Едва ли... Скорее с невидимыми врагами. Я, как белетрист, представляю себе дело так. Ночью она вспоминает всю свою прежнюю жизнь и бранит тех, кто ей чем-нибудь вредил.

— Ее никто не посещает?

— Почти никто. Раз в месяц приезжает отставной генерал. Говорят, ее родной брат. Она его на лестнице принимает. Жена видела раз эту встречу. Генерал поджидает на площадке, а она вынесла ему охапку кредиток, сунула в руку и крикнула: «На, пей мою кровь!» Тот поклонился, да поскорее по лестнице вниз.

— Значит, у нее и средства есть?

— Ого! Да еще какие! И свои, и по наследству от мужа, Говорят, что деньги у нее лежат по нескольким банкам, так что общую сумму определить трудно. Но около полумиллиона наверняка. А другие говорят, что ничего нет в банках, а деньги все она держит на квартире и не в процентных бумагах, а в золоте и кредитках. Мало ли что болтают. Верно одно, что она страшно богата и страшно скуча. Бедовая старуха! А голос-то какой: точь-в-точь как у фельдфебеля с перепоя.

— Знаете еще, что говорят? — вмешалась жена Калмыкова. — На дворе ходит легенда, что в квартире у нее привидения. Дело в том, что она никогда не зажигает огня. Только лампадки теплятся. И вот ночью видели у окна что-то белое. Машет словно крыльями. Иногда совсем небольшое, иногда огромное, чуть не во все окно...

— Пустяки! — брезгливо отозвался муж. — Охота тебе повторять эти глупости!

— Не глупости, милый! Малаша видела, ей дворник показывал.

— Пустяки! — упорно настаивал Калмыков.

Веретьев ушел после сытного завтрака, заняв кстати у хозяина пять рублей.

III

Выходка Веретьева на кутеже репортеров не прошла даром. Его стали явно сторониться.

Уверениям, что он ругал товарищей только за мелочность безнравственных поступков, а сам готов чуть не ограбить,

но на больший только куш, никто не придал значения.

— Это спьяну. А шантажистами и сутенерами считает нас действительно.

Когда Веретьев подходил к компании в ресторане, шумная беседа смолкала, на него смотрели холодно и подозрительно, не просили присесть к столу.

Еще больше это отношение отражалось на работе. Репортеры разных газет обмениваются сведениями, распределяют между собою материал и каждый имеет хоть небольшой дневной заработок.

Веретьев лишился и этого. Ему не отказывали прямо, но нетрудно было понять, что его фактически исключили из среды. Сегодня: «Нет никаких сведений, сами измышляем». Завтра: «Опоздал, все уже распределили». Веретьеву пришлось перейти на случайные заметки, а это равнозначно полной безработице. Все же он продолжал ходить в редакцию, сидел за репортерским столом, курил папиросы Бондарева, который один не изменился к нему и даже изредка помогал рублями.

Приходилось жить исключительно займами.

Два раза заходил он к Калмыковым, пил, ел и каждый раз кончал визит просьбой о займе до первой получки из редакции.

Калмыков морщился, но давал.

Но вступилась жена, и при новом посещении вышла в прихожую и прямо заявила, что муж страшно занят работой, а она сейчас уезжает в гости.

Веретьев, к тому же не евший целый день, ушел, как оплеванный, с жутким чувством, что и это место, где его принимали так тепло, закрыто, и милые, добрые люди стали смотреть на него, как на жулика и бездельника.

Медленно спустился он по лестнице и, не зная, куда пойдет из ворот, едва переступая двигался по двору...

Мимо прошла старая графиня.

Веретьев остановился и проводил ее глазами.

Эта широкая, сгорбленная спина, черный капрон, разношерстные валенки вдруг стали ему ненавистны.

«Я, молодой, сильный, умный, гибну от голода, а эта ни-

кому не нужная старуха сидит на деньгах и живет черт знает как, скупится истратить лишнюю копейку на хороший обед. Умрет, оставит деньги старому кутиле-брату или завещает на благотворительные учреждения, а те растащат».

Озлобление росло в душе.

«Пойти придушить ее, деньги отнять! Разве это было бы несправедливо?»

Но такие люди, как Веретьев, не люди дела, а только озлобленной мечты.

Остановившись на дворе, он стал смотреть на окна квартиры старой графини.

Было уже темно. В квартире царил мрак, еле-еле разговариваемый красноватым мерцанием лампадок, которые горели в каждой комнате.

Веретьев невольно вздрогнул. В среднем окне появилось что-то белое, оно выросло почти до верха рамы и все колыхалось, словно махал десяток огромных крыльев, то заслоняя все окно, то открывая красноватые мерцающие просветы.

«Так это не сказка, это привидение. Что это такое? А Калмыков говорит: пустяки! Пусть бы посмотрел.

Белое привидение исчезло так же внезапно, как и явилось. В окне обозначился темный силуэт старухи, размахивающей руками.

Веретьев не был суеверен, но ему стало не по себе и он поспешил уйти.

Куда деваться? О ночевках на диване в редакции узнал издатель газеты и сделал серьезное внушение сторожу, чтобы этого никогда больше не было.

У Веретьева оставалось копеек двадцать.

«Надо пойти в наш ресторан, на ходу никогда ничего не придумаешь».

Он уже не раз замечал, что сидя лучше думается.

Спросил кружку пива и пил ее медленными глотками.

Но голова, изнуренная голодом и усталостью, отказывалась работать, мысли плыли, как в тумане, было похоже на состояние перед сном. Может быть, Веретьев и действительно задремал на мгновение.

Очнулся он, словно от чьего-то окрика.
Совершенно ясно услыхал слово: «Хортик!»



Что такое Хортик?

И, только собравшись с мыслями, вспомнил, что в редакцию приходил низенький человек с головой, странно ушедшей в плечи, с зоркими серыми глазами под рыжими густыми бровями.

Принес заметку о забастовках в рабочем районе и особенно упирал на то, что фабрика музыкальных инструментов, в которой он работает, не примкнула к общему движению.

Веретьев заинтересовался.

— Вы не сочувствуете рабочему движению?

— Нет, «рабочему» я очень сочувствую, а плясать под дудку эсдеков не намерен.

— Да ведь это ваша рабочая партия!

— Вы, как интеллигент, так думаете, а мы — рабочие —

думаем иначе. Те же буржуи, но в красных плащах. Интеллигенция есть класс, интересы которого не совпадают с интересами рабочих. Это аристократия ума и знаний, идущая на смену денежной буржуазии. Мы не примкнули к забастовке, потому что рабочим никакого дела нет до политики. Ее делает интеллигенция и только ей она нужна.

— Значит, вы анархист?

— Э, называйте, как хотите, только заметку поместите в том виде, как она написана.

Посещение этого загадочного человека, в котором ясно чувствовался и интеллигент, сознательно превратившийся в рабочего, повторялось не раз, и всегда он обращался к Веретьеву.

Тот исполнял просьбу и разговаривал с неизвестным, стоя в коридоре.

— Пойдем, потолкуем в ресторане, — предложил раз Веретьев.

— Я ничего не пью. А если хотите побеседовать, приезжайте ко мне.

И дал адрес: за Невской заставой, такой-то переулок, Матвей Хортик. Фамилия — необычная, врезалась в память. Даже помнится, навязалась в мозгу. Хортик, Хортик.

«Не потерял ли я адреса?» — испугался Веретьев. Но, к счастью, грязная, измятая бумажка скоро нашлась и Веретьев поехал на паровом трамвае за Невскую заставу.

Хортик жил в маленьком деревянном домике-особняке.

На звонок вышел он сам, пристально оглядел Веретьева и сказал просто:

— Проходите!

Большая комната представляла соединение мастерской с кабинетом и столовой.

По одной стене стояли верстак и токарный станок. А напротив большой шкаф с книгами и письменный стол.

В углу накрытый скатертью стол. На нем бутылка водки, несколько бутылок пива, колбаса, нарезанная на кружочки, селедка, кислая капуста, большая краюха хлеба. За столом сидел среднего роста рабочий, поражавший необы-

чайной шириной груди. Рукава пиджака туго обтягивали атлетические мускулы. Безусое и безбородое лицо отличалось грубыми, резкими чертами, словно вырубленными резцом из гранита. Низкий, хмурый лоб и небольшие, сверкающие острием стали глаза.



Хортик подвел к нему Веретьеву.

— Мой товарищ — Кабальский.

Веретьев чуть не вскрикнул от боли, когда богатырь по-жал ему руку.

— Пьете водку?

— Пью!

— Наливайте сами, закусывайте!

В комнате был и третий, с которым Веретьев не знали. Этот был полной противоположностью Хортику и Кабальскому. Одет по последней моде, цветной галстук. Черные усы и эспаньолка. Он напоминал наружностью фокусников, докторов черной и белой магии, престижитаторов и гипнотизеров.

Увидав Веретеву, он отозвал Хортика в следующую комнату и стал говорить вполголоса.

— Да вам всюду шпики представляются, — громко отвечал Хортик. — Просто репортер из газеты, человек, видимо, сильно нуждающийся, может быть, сегодня и не ел еще ничего. А у вас сейчас подозрения. За свою драгоценную личность опасаетесь?

— Нет, но я ведь приехал выяснить вам точку зрения заграничного комитета.

— Ну и выясняйте!

— Как же при нем?

— Да в чем, собственно, опасность? Ведь вы разбираете вопрос теоретически, не конспирация какая-нибудь.

— Как хотите! На вашей ответственности.

— Да, перестаньте трусить! В таинственность играть!..

— Здорово его Матвей прохватывает, — одобрил Кабальский, опрокидывая в горло стакан пива. — Так им, заграничным слеткам, и надо.

Черный господин вышел опять и, ходя взад и вперед по комнате, временами жестикулируя, начал разъяснять авторитетным голосом «программу махаевцев»*.

— Слыхали! Без тебя знаем! — буркнул Кабальский.

— По поручению комитета, я должен вам заявить, что обращено внимание на полную бездеятельность кружков за последнее время. Необходимо оживить дело и проявить себя активно.

— Хорошо! — громко заговорил Кабальский. — А позвольте спросить, экспроприированные деньги мы должны от-

* Анархисты, последователи польского революционера Я. В. Махайского, считавшие, что рабочий класс эксплуатируется всем «образованным обществом» и прежде всего интеллигенцией.

дать вам или они останутся в кассе нашего кружка?

— Это уже специальный вопрос, который лучше обсудить в другое более удобное время и при более удобных условиях.

Черный быстро одел шапку и пальто и вышел.

Хортик, проводив заграничного гостя, вернулся и, став перед Кабальским, громко рассмеялся. Веретьев был поражен происшедшей в нем переменой. Его лицо, сосредоточенное, почти злое, стало детски незлобивым и смех такой искренний, заразительный, что Веретьев не выдержал и рассмеялся в свою очередь, не зная, в чем дело.

— Чего обрадовался? — оборвал сухово Кабальский.

— Каков? Нет, каков гусь? А галстук-то, а брюки в полоску, трость с золотым набалдашником, перчатки! Тоже махаевец!

— Дело ясное. Перепало им, заграничным, тогда от большой экспроприации тысяч пятьдесят. Теперь деньги подходят к концу. Не на что разъезжать по Европам, кокоток ужинами кормить. Вот и послали этого франта. Жертвойте, мол, шеей для общего дела, а денежки нам, мы знаем, куда их пристроить.

Лицо Кабальского покраснело, глаза загорелись диким огнем гнева. Сжались руки в кулаки и горой поднялись мускулы.

— Подлец! С чем приехал, с тем и уедет.

Кабальский выругался площадной бранью.

— Успокойся, Костя! — ласково уговаривал Хортик. — Стоит того! Черт с ним! Ты ведь знаешь, что наши не подадутся. Их краснобайством не возьмешь.

Кабальский опять принялся за водку и понемногу успокоился, хотя сидел с отчаянно мрачным видом.

Веретьева словно осенило: вот они, настоящие товарищи для того дела, которое давно им обдумано; но только в мечте, в воспаленном воображении, сидя за кружкой пива, он грабил, убивал, искусно смывался от преследования.

С этими мечта может перейти в действительность. Нежели он, Веретьев, струсил?

Волнующим и бодрящим холодом прошла дрожь по спине.

— Так значит, Хортик, вы бы пошли на экспроприацию?

— Но экспроприации вы признаете?

— А вам это, господин, для чего, собственно, нужно?

Кабальский, вмешавшись в разговор, видимо, хотел на ком-нибудь сорвать злобу.

— Так!.. У меня, видите, давно план один есть. Только не было товарищ...

— Так чего же вы мямлите? Коли есть что, говорите прямо.

— Видите, мне в последнее время страшно не везет. Жизнь совсем забила. Впереди ночлежка, смерть от голода или от простуды. Или надо заняться, как товарищи, мелкими обманами, шантажом, взятки брать. Я этого не могу.

— Белоручка! — рявкнул Кабальский.

— Может быть. Но на дело, которое дало бы большие деньги, хотя бы с риском жизнью, я бы пошел.

— Ладно! Ваше дело! А только если вы серьезно что-нибудь задумали — говорите без предисловий, да поменьше о себе. Не разжалобите, не вам одним живется так, что хоть в омут головой.

Веретьев рассказал все, что знал о старой графине.

Все трое засиделись далеко за полночь с серьезными побледневшими лицами и подробно обсуждали предстоящее опасное дело, как обсуждает накануне военный совет план генерального сражения...

IV

Звонить в квартиру старой графини выпало на долю Веретьева. Он должен был подать пакет и затеять разговор.

Кабальский и Хортик спрятались за дверью. Время было выбрано вечернее. Это давало огромное преимущество. Ограбивши квартиру, можно было выйти из ворот, еще не запертых на ночь дворником.

Но вместе с тем грозила и серьезная опасность: мог кто-

нибудь пройти по лестнице и увидеть экспроприаторов.

Надо было спешить.

С замирающим, несмотря на выпитую водку, сердцем Веретьев дернул звонок. Минуты две протянулись в мучительном ожидании, Веретьев уже хотел позвонить вторично и... чуть не вскрикнул от ужаса.

Дверь бесшумно приотворилась вершком на два и в щели показалась голова старухи с острым горбатым носом и оловянными, мертвыми глазами. Без капора, с седыми расстрепанными волосами она была еще страшнее.

— Что надо? — прохрипела она.

— Письмо вам. Просят ответа.

— От кого?

— Не могу знать. Я служащий в конторе.

— Давай!

Высунулась рука и вырвала пакет у Веретьева.

Старуха хотела захлопнуть дверь, но Кабальский зорко выжидал момент и засунул между дверей ногу. В то же время Хортик со всей силой отдернул створку, так что на мгновение старуху вытащило на площадку.

— Эгей! — гулко пронесся по лестнице ее безумный, дикий вопль.

Все трое ворвались в квартиру, толкая перед собою графиню, и захлопнули дверь.

Хортик хладнокровно повернул ключ.

Начало было удачно.

Старуху втолкнули в зал, освещенный довольно ярким лампадным светом. Она закружилась на одном месте. Из черного, раскрытого рта вырывался хриплый вопль: «Эгей!», а руками она рвала и трепала седые лохмы.

Хортик перебросил Кабальскому большой джутовый мешок.

Силач бросился на старуху, накинул и мигом натянул до самого пола.

Под редкой матерней ворочались беспомощно руки, держалась голова, то обрисовываясь шаром, то скрываясь в огромном колпаке. Кабальский грубо толкнул графиню и она грохнулась, высоко поднимая ноги.



Теперь из мешка торчали только большие подошвы разношенных валенок и это было почему-то особенно страшно.

Кабальский натянул мешок дальше и завязал крепким узлом.

— Готова! — сказал он, тяжело дыша и стирая пот со лба. — Ну, барин, ты чего осовел? Да не подходи ты близко к окну, тень со двора увидят! Держись за светом! Матвей, давай отмычки! А ты, барин, осмотри-ка мешок.

В ридикюле старухи Веретьев нашел кошелек.

— Много?

— Рублей шестьдесят.

— Прячь!

Роли распределились. Кабальский и Хортик взламывали замки, а Веретьев пересматривал содержимое ящиков.

— Эй, барин, ты так год провозишься над одним ящи-ком. Не вздумаешь ли еще читать каждую бумажонку? Ше-

велись скорей!

Бумаги, документы, фотографические карточки летели на пол.

От письменного стола перешли к шкафу. И Веретьеву пришлось возиться во всякой рухляди, перетряхивать белье, распоротую шубу, шелковые платья.

— Ощупывай внимательно, барин! Старухи любят зашивать деньги в тряпки.

Огня, конечно, не зажигали, пользуясь маленькими электрическими фонарями, дающими свет лишь при нажиме на кнопку.

В столе и шкафу нашли всего несколько сот рублей, не больше как тысячи на две. Принялись за ореховую резную шифоньерку...

Кабальский выругался и махнул рукой над головой: на его спортсменскую шапочку опустился большой ворон и перебирал ногами, махая крыльями, словно боясь усесться, как следует. Прогнанный он взвился к потолку, сделал два-три круга и, усевшись на шкаф, огласил комнату тревожным заунывным криком:

— Кррра! Кррра!

Экспроприаторы оглянулись. По всем стенам, ближе к потолку, были прибиты полочки и суки деревьев. Оттуда смотрели вниз десятки круглых птичьих глаз, испуганных и любопытных. Уже кое-где трепетали крылья, начались перелеты. Шел несмолкаемый тревожный гомон, щебетали, пищали, посвистывали в крошечные свирели.

Полет ворона дал сигнал к общей тревоге. Птицы снялись с мест, залетали по комнате. Иные опускались на головы и плечи экспроприаторов и тотчас в ужасе летели камнем в сторону. Синицы, чижки и щеглы бились в оконное стекло грудью и тюкали носами. Не удержавшись, они скользили по стеклу на подоконник и поднимались вновь, налетая с маxу на окно и расшибаясь, пока, обессиленные, не садились где-нибудь с повисшими крыльями, прыгающими от волнения грудками и широко раскрытыми кловами.

У некоторых из разбитых носиков сбегали алые капли крови.

Целая стая чечеток носилась около лампады, раскачала ее на цепях и по стенам заходили огромные, безобразные тени.

Желтые и красные клесты срывали злобу на сучьях, которые неистово драли крепкими носами, так что мелкие куски дерева летели во все стороны.

Три сойки кружились над экспроприаторами и забрасывали их нечистотами.

В шифоньерке нашли столовое серебро.

— Надо брать! — решил Кабальский. — Еще не известно, найдем ли деньги.

Зал был старательно осмотрен. Больше ничего не оказалось.

Перешли в спальню. Перерыли всю постель. Распороли перину и подушки, напустив тучи пуха и пера.

И здесь ничего.

— Уйдем скорее, а то пух насядет на платье.

Рядом с кухней была еще маленькая комната. Когда отворили ее, раздался дикий, хриплый вопль.

— Эгей!

Все вздрогнули.

— Дураки! — опомнился первым Хортик. — Это попугай!

Комната была почти пустая, только на стене висел небольшой шкафчик с картинками, рисованными на фарфоре и вставленными в створки дверок.

Кабальский запустил отмычку в замок.

— Эгей! — завопил попугай, и Веретьев громко вскрикнул.

— Что с тобой, барин?

У Веретьева палец был глубоко прокущен и кровь лила ручьем.

— Перевяжи потуже платком. Эка проклятая птица!

Попугай укусил Кабальского за ухо. Тот вышел из себя, бросился и поймал птицу за хвост.

— Эгей! Эгей!

Размахнувшись, Кабальский разбил голову попугая о стену и бросил труп в угол...

В шкафчике оказалось с дюжину коробок разной вели-

чины. Раскрыли. При свете электрических фонариков, заиграли ослепительно бриллианты, зачервонили рубины, зеленым блеском загорелись изумруды.

— Разбирай по карманам! — скомандовал Кабальский.

У Веретьева вдруг заныло сердце недобрым предчувствием.

— Уйдем! тут драгоценностей на десятки тысяч.

— А ту, запертую комнату, еще не осмотрели.

— Слишком долго сидим. Могут прийти.

— Э, вздор! Кто к старухе ходит!

В прихожей звякнул звонок.

Все трое закаменели.

— Иди, барин, к дверям! — шепотом приказал Кабальский. — Ты в галошах и пройдешь неслышно. Послушай! Разумеется, не отпирая ни в каком случае. Матвей, готовь браунинг!

У Веретьева сердце билось до боли и, казалось, сейчас разорвется. Задыхаясь, прильнул к двери.

Ясно слышен был разговор на площадке.

— Эка ведьма, прости Господи! Либо ушла, либо дрыхнет, так что пушками не разбудишь. Вот всегда так. Завалится днем спать до полуночи. А там и пошла колобродить до бела света. Соседей беспокоить.

— Как же быть?

— Постой! Еще позвоню.

Звонок запрыгал над головой Веретьева. У него заточило в горле. Хотелось откашляться. Он употреблял страшные усилия воли, чтобы не произвести звука и глотал, даясь, слону.

За дверью опять заговорили.

— В щелочку ничего не видать. Только заперто будто изнутри. Да все равно — не разбудишь. Мы вот что сделаем. Пойдем в контору, я повестку приму, распишусь, а завтра утром ей вручу.

— Ладно! Законом дозволяется!

Застучали сапоги по площадке и звук шагов стал постепенно удаляться. Веретьев вернулся к своим, кашляя и отплевываясь.

— Вот и отлично! — обрадовался Кабальский, услыхав разговор дворника с судебным рассыльным. — Теперь мы гарантированы от всяких посещений.

— А не лучше ли уйти?

— Дурак ты, барин, да к тому же трус. Сам же говорил: хранит в квартире сотни тысяч. Где они? Дело делать, так делать. Лучше бы с нами и не ходил, коли у тебя душа заячья.

Осмотр кухни и прихожей не дал ровно ничего.

Оставалась одна комната с дверью, выходящей к залу и запертой большой задвижкой.

Успокоившиеся было птицы вновь подняли крик и залетали.

Кабальский подошел к двери, дернул задвижку, распахнул. В комнате было темной жутко, зиял черный четырехугольник.

— Белое привидение! — закричал не своим голосом Веретьев.

На черном фоне замахали белые крылья.

Кабальский невольно отступил и сейчас же раздался его чисто животный вопль.

Огромная белая сова вцепилась острыми, как кривые кинжалы, когтями ему в лицо.

Тщетно он пытался отбиться. Сова драла щеки, губы, глаза. Адская боль парализовала всякое сопротивление. Кабальский рухнул на пол лицом кверху. Сова со злобным криком продолжала его терзать.

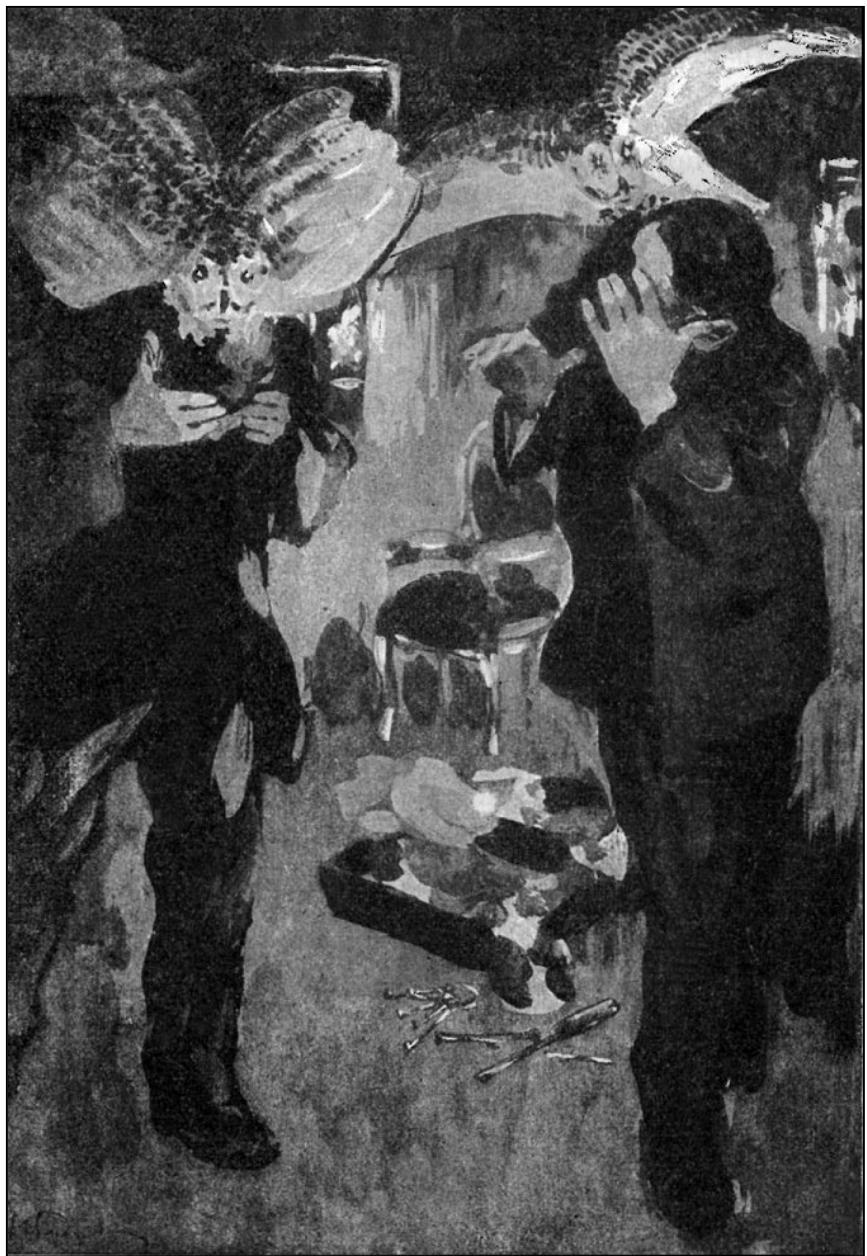
Хортик бросился на помощь, но почувствовал, что острые когти впились в его затылок, и поспешил лечь на пол, скрывая лицо.

Всех сов вылетело пять. По две расселись на лежащих Кабальском и Хортике, драли их когтями, клевали острыми, загнутыми клювами.

Пятая принялась охотиться на Веретьева и кружилась над его головой.

Он хотел выбежать в прихожую и на площадку, но сова догадалась и не пускала выйти из зала.

Веретьев метался, как безумный. Вид его товарищей был



ужасен.

Сова, сидящая на лице Кабальского, отрывала куски тела и, подняв круглую голову, глотала теплое, живое мясо, пачкая белоснежные перья кровью.

Другая чудовищная птица рвала ему живот.

Две сидели на Хортике, терзая спину и ноги.

Веретьев изнемогал в борьбе с совой. Голодная, она пронзительно кричала, завидуя другим, и атака следовала за атакой.

В полной растерянности Веретьев забыл, что товарищи дали ему револьвер, и отмахивался какой-то палкой.

Сова делалась все настойчивее и смелее. Разва два она рванула плечо и Веретьева словно обожгло раскаленным железом.

Он заметался, с ужасом чувствуя, что сейчас изнеможет и упадет.

В порыве отчаяния, забыв обо всем, Веретьев бросился к окну, разбил двойные стекла и высунулся почти до пояса на морозный воздух.

В ту же минуту острые когти совы впились в его тело.

—Помогите! Помогите!

Отчаянный крик раздавался по всему двору. Из ворот вышла горничная с покупками, увидала в окне Веретьева и опрометью бросилась назад к дворнику.

Скоро показались фигуры бегущих дворников, за ними, придерживая шашку, спешил городовой.

Через минуту раздался грохот в двери, но Веретьев его не слышал и продолжал кричать до хрипоты:

—Помогите!

Подоспела полиция. Дверь выломали. В ужасе остановились городовые на пороге зала. Огромные белые птицы терзали живых людей.

Околоточный заметил мешок и велел развязать.

К удивлению, графиня не потеряла сознания и встала сама, без чужой помощи, сначала на колени, а потом во весь рост.

—Эгей! — завопила она на сов.

Птицы подняли головы и прислушались.

—Кш, кш! — замахала на них руками старуха.

Совы послушно оставили свои жертвы, взлетели и одна за другой скрылись в темной комнате. Старуха закрыла дверь и заперла.

Веретьеву едва вытащили из окна. Лицо и руки его были изрезаны стеклами.

Кабальский не приходил в сознание. Все лицо его представляло обрывки кровавого мяса, глаза вырваны, изранен и живот.

Хортик пострадал меньше. Совы истерзали ему спину...

ВАМПИР

I

Я знал только третью жену Боклевского.

О первых двух ходила легенда, если можно так назвать гнусную, бесстыдную сплетню, которая вьется, липнет, мутит сознание людей, отравляет чистых и служит необходимой духовной пищей грязных.

Говорили много и скверно о причине смерти этих двух женщин.

— Синяя борода!

Факт, конечно, был налицо. Боклевский женился на молоденькой девушке из хорошей дворянской семьи, пришедшей в упадок. Это обстоятельство особенно важно потому, что исключало возможность предположить то обычное преступление, которое ведет злой ум через брак к кошельку женщины.

Сам Боклевский имел хорошие средства и мог жить, не нуждаясь ни в службе, ни в заработка.

Прожил он с первою женою, Ниной, всего полтора года.

До свадьбы и первые месяцы брака она отличалась цветущим здоровьем, ни разу не болела серьезно, и, казалось, этому прекрасному женскому телу суждено долголетие.

Но вскоре молодая женщина начала бледнеть, худеть, все чаще обращалась к врачам и умерла от малокровия и полного упадка сил.

Знакомые с трудом узнавали в лежащем в гробу скелете, обтянутом кожей, еще недавно столь жизнерадостную Нину.

Вторая жена, Вера, почти буквально повторила печальную историю первой.

Смерть на втором году брака произошла от тех же причин: малокровие и упадок сил.

Врачи не видели в болезни этих двух женщин, так без-

временно погибших, ничего удивительного, необъяснимого.

— Подобные случаи, когда совершенно здоровые девушки, перейдя к жизни замужней женщины, гибнут от маразма, зарегистрированы в летописях медицины.

— Какая же причина этих случаев? — спрашивали врачей знакомые Боклевского.

— Брак в жизни девушки является всегда роковым моментом, потрясающим весь ее организм. На одних это отражается слабо и лишь временной утратой сил, которые быстро восстанавливаются, даже получают еще больший расцвет, закладывая основание нового существа — женщины. Для других натур потрясение оказывается слишком сильным: девушка гибнет, не превращаясь в женщину. Наблюдались случаи и совершенно противоположные. Малокровные девушки, страдающие той неопределенной болезнью, которую прежде называли «хлорозисом», вступив в брак, излечивались, и через год-другой их нельзя было узнать, до того велика была разница между худосочной девушкой и полной жизни и здоровья женщины, женой и матерью. Это как бы подтверждает обычный совет старинных врачей при малокровии девиц: «Ей пора бы выходить замуж».

— Не думаете ли вы, доктор, что причиной смерти двух жен Боклевского могла быть его болезнь? Чахотка, например?

— Вы рассуждаете, как невежда. Неужели вы думаете, что перед постановкой диагноза врач не делает сотни, тысячи предположений, не строит гипотез? Но фантазия здесь ни при чем. Нужны факты и факты, точные наблюдения, микроскопический и химический анализ. Я лечил обеих жен Боклевского, не раз созывался консилиум. Выписывали знаменитостей. Сам муж подвергался всестороннему исследованию. Поверьте, все было сделано, все предположения, возможные в данном случае, проверены. Ни туберкулеза, ни другой хронической, истощающей болезни не обнаружено.

Так люди науки и не разъяснили роковой тайны, которую искали окружающие.

Сплетня хотела во чтобы то ни стало найти какую-нибудь пошлую, грязную причину. Стали говорить о том, что Боклевский отвратительно обращался со своими женами и, как говорят, «загнал их в гроб».

Приводили несомненные доказательства зверства мужа, не стеснявшегося бить нежных, прекрасных жен.

II

Все это было мне известно, когда я познакомился с Боклевским, но я привык не всему верить, что считается за общепризнанную истину.

И стал присматриваться к человеку, прославленному «Синей Бородой».

Боклевский, человек высокого роста, сухощавый блондин лет 38, не производил впечатления больного или психопата. Напротив, — это был, по-видимому, совсем нормальный человек, без индивидуальных особенностей. Просто — мужчина, не безобразный, вполне приличный, не особенно умный, но и не глупый. Никому не колол глаз своим богатством, но и не скрывал привычек человека, никогда не нуждавшегося. Все в нем было ровно, уравновешено, без ярких мазков — фигура, зарисованная природой в средних, немного линючих красках. И разговор простой, по существу — обывательский, без углубления в неизведенное, без дерзновенных порывов ввысь.

Я понадобился ему, как адвокат по одному гражданскому процессу, и сам не знаю, как сошелся с ним близко, по-приятельски, но настолько, что он просил меня остаться после делового разговора, спрашивал в кабинет кофе и кофьюк, угощал дорогими сигарами. Чаще слушал меня, но иногда и говорил о том, о сем.

Но в один вечер мне почудилось в нем что-то странное, возбужденное. Глаза, эти глаза зеленоватые, водянистые, то и дело загорались золотыми искорками, и мерцающий свет их указывал на то, что мы, окружающие, не все знаем в

этом человеке, а есть в нем еще что-то, для нас неведомое, скрытое, тайное.

Я глядел на него с особым любопытством. Нервной рукой чаще обычного наливал он из бутылки и торопил пить, поднимая свою рюмку.

— Вы можете меня поздравить, — сказал он вдруг, словно бросился, очертя голову, в бездну, — я женюсь; на днях свадьба. Мне хочется пригласить вас шафером.

Вот тут-то мне и вспомнилось все, что я слышал раньше об этом двойном вдовце, и мне показалось, что некто собирается совершить тяжкое преступление и тянет меня в сообщники.

Но я сидел в кабинете богатого клиента, в строго корректной дорогой обстановке, курил ароматную сигару и сам был одет во все изящное, что человека обращает в «и т. п.», в «и т. д.», «и проч».

Я только спросил спокойным, умеренно-громким голосом, полным, однако, внутреннего достоинства:

— Вы женитесь на девушке?

Он весь просиял и глаза его загорелись яркими звездами.

— На девушке, на прекрасной, чистой девушке!

Волнуясь, он встал, и заходил по ковру, устилавшему пол кабинета.

— Я был несчастен два раза. С любовью, с глубокой благодарностью вспоминаю я о моих покойных женах. Какие это были чудные женщины, как любили меня. А я их? Душу готов был отдать за поцелуй, за ласку.

Боклевский долго и молча отмеривал расстояние между письменным столом и камином.

— Я — странный человек. Когда около меня нет юного женского существа, я глубоко несчастен. Не подумайте, что я особенно страстен... женщин, что ли, так сильно люблю. Нет! Мне органически необходима близость женщины. Я становлюсь бодрым, иначе, светлее, лучше смотрю на весь мир, чувствую себя человеком, чувствую, что я существую. В одиночестве я гибну. Не сумею передать вам всего, в точности. Это не по моим силам. Но одинокий я чувствую,

как силы постепенно меня оставляют, как я иссыхаю... Простите, не найду слов. Вообразите себе почву, способную прорастить что-нибудь, но бесплодную от долгой засухи. Нужен благотворный, оживляющий дождь. Без него этот чернозем — пыль, тот же песок. Для меня таким дождем, оживляющим долину смерти, дающим кровь и жизненные соки засохшей мумии, является женщина. Молодое, чистое, нетронутое существо...

В том, что он говорил, не было ничего страшного, а мне было страшно, жутко до тошноты, до истомы во всем теле, и тайный голос предсказывал мне: «погибнет и эта!»

Отчего? Почему?

Передо мною маячила длинная фигура сухощавого блондина, под сорок лет, в возрасте, когда так свойственно искасть близости с молодой женщиной, жаждать ее постоянного присутствия.

В чем бы мог я обвинять его, за что ненавидеть, бояться, презирать? Ему, одионокому, хочется тепла, женской ласки, уюта семейной жизни. Дважды он был счастлив и несчастен. Надеется на прочное счастье в третий раз...

И я согласился быть шафером — и, держа над головою его венец, косил глаза на прекрасную фигуру молодой невесты, стыдливо замирающей в предчувствии новой жизни...

На второй год счастливой супружеской жизни заболела и эта. Я был другом их дома, для меня всегда был готов прибор за их столом, я знал мелочи их интимной жизни. Более любящего, мягкого, снисходительного мужа я не видел. Он окружал жену атмосферой любви и ласки, никогда не оставляя ее одинокой, предупреждал каждое ее желание. Через год смотрел на нее такими же влюбленными глазами, как в первые дни после свадьбы. И она, радостная, счастливая — купалась в лучах ласки — и часто сравнивал я ее с ребенком, шалящим в теплой кровати матери, с женщиной, отдавшейся в жаркий день любовным прикосновениям морских волн, под нежащим солнцем юга...

Заболела!

Стала худеть, бледнеть. Погас румянец, поблекли и втя-

нулись щеки, болезненно-жалко обозначились ключицы под шеей и ямки около них, — зато выдвинулись больные, страдающие глаза, молящие о милости, о возврате недавнего здоровья, испуганные, видящие уже то, что видимо только перед концом...

Третья жена Боклевского, Надежда, умерла, как и первые две, на втором году замужества.

Я целовал в гробу ее лоб и с ужасом убедился, что это почти мумия, не имеющая обычного холода трупа, словно целовал я не мертвеца, а манекен из целлулоида...

Боклевский уехал за границу — и я потерял его из виду.

Странные слухи доходили до меня издалека. Там он, пользуясь иными законами о браке, женился опять, и будто жена его умерла, и будто он еще раз связал себя супружеством... Прошло лет восемь. Слухи затихли о Боклевском давно и все перестали им интересоваться.

Общее внимание в нашем городе возбудило известие, что Боклевский едет, отчаянно больной, в свое родовое имение, — едет из-за границы умирать на родине.

Известие это подтвердилось, и вскоре все узнали, что Боклевский вместе с врачом-японцем уже находится в старом усадебном доме села Спас-Колино.

Я поспешил его навестить.

В скелетообразном теле, лежавшем на кровати, я едва узнал когда-то жизнерадостного, хотя всегда сухощавого Боклевского.

И что меня особенно поразило: выражение глаз испуганное, молящее о помощи, как у его третьей жены перед смертью.

Он, видимо, мне обрадовался. Протянул руку, слабо улыбнулся.

Прикосновение его кожи заставило меня содрогнуться. Горячая рука была словно не телесная, а сделанная искусственно. Быть может, из дерева, чем-нибудь обтянутого. Кожа сухая, бумажная, сказал бы я.

И весь он был именно сухой. Тело, которое лишено влаги, жизненных соков. Воспользовавшись моментом, когда больной уснул, я отозвал врача.



— Что с ним?

Японец хитро глянул на меня черными глазами и блеснул на темном лице оскалом белых зубов.

— Вы, европейцы, этому не поверите. Боклевский болен редкой болезнью, известной на Востоке. Особый микроб — мумифицирующая бацилла. Он много путешествовал, — вероятно, заразился. Тело его медленно, но верно иссыхает и образуется в мумию. Действие этой бациллы известно было в древности. Можно навеки сохранить труп, кусок материи, что хотите, если подвергнуть их действию жидкости, в которой культивирована эта бацилла. Питательной средой для нее служит мед. Вот почему царь Ирод убил жену в гневе и в горьком отчаянии, желая сохранить ее труп, опустил его в стеклянный гроб, наполненный медом, и долго хранил в своем дворце. Боклевский кончит жизнь, обратившись в мумию, и я убежден, что выройте вы его через десять лет, он будет все такой же, как в момент смерти.

Я рассказал японцу о таинственной смерти жен Боклевского.

— Что же, это легко объяснимо. Он заражал их мумифицирующей бациллой, и они гибли, как организмы более слабые.

Так наука разъяснила тайну «Синей Бороды», который вскорости сам умер и был похоронен в семейном склепе.

Я давно уже отказался от профессии адвоката, живу уединенно в Петербурге, на краю города. Я член общества, изучающего тайные науки и дерзающего переходить через грани, положенные разуму человеческому. Очень мало знаю еще я, ищущий. И в благоприятную минуту я, кверенд, спросил Меона:

— Великий учитель, скажи, что думаешь ты о загадочной смерти жен Боклевского?

Меон, выслушав мой рассказ, омрачился.

— Сын мой, ты стоял близко к одному из ужасных существ, которые, к счастью, появляются в физическом плане

очень редко. Человек есть астральное существо в физической оболочке. Когда человек умирает, физическая оболочка его разлагается. Но и в астральном плане происходит нечто подобное физической смерти. Сущность сбрасывает астральную оболочку и уходит в третью сферу — ментальный план. Но оболочка, брошенная душой, не исчезает, — она, напротив, ищет воплощения и в некоторых случаях достигает своей цели. Тогда является человек-вампир. Существо, способное жить лишь за счет других. Существо, невидимо и неосозаемо высасывающее жизненные соки из женщин, если это мужчина, из мужчин, если это женщина. Боклевский был вампиром.

Так тайну Боклевского и его несчастных жен объяснил мне великий учитель оккультных наук...

Но отчего я испытываю такой ужас, такой душевный холод, когда я вижу, что жена моя худеет и бледнеет? И вместе с боязнью потерять ее, внутренний голос говорит мне — «все люди — вампиры, все сосут жизненные соки из других и живут за счет их сил и здоровья, — все живут неосозаемым убийством — и сама жизнь есть цветок, корнями питающийся трупом».

САМОЗВАНЕЦ

I

Ивану Петровичу Чернобыльскому как-то во всем не везло.

Он даже привык к мысли, что все задуманное им, желанное, ни за что не удастся.

Иногда в мечтах он видел себя на вершине успеха, попадал на место с большим окладом вместо жалкого положения второго помощника бухгалтера.

И при этом Иван Петрович был твердо убежден, что, если бы его сделали, например, главным бухгалтером, то он был бы гораздо более полезен, умен, сообразителен, чем этот толстый дурак Филиппов.

В голове Ивана Петровича сложился даже план некоторых реформ по бухгалтерскому отделу, от которого отчетность предприятия значительно бы выиграла. Являлась даже мысль о подаче докладной записки вправление.

Но на деле все кончалось одними мечтами и пробой изложить свой план на бумаге.

Это удавалось, и сам Иван Петрович удивлялся легкости своего слога и умению излагать все обстоятельно, последовательно.

Но работа увлекла ненадолго.

— К чему? Все равно ничего не выйдет!

Больше того: подай он докладную записку, наверно попросят оставить службу.

Жизнь уже учила Ивана Петровича и он цепко держался за то, что есть, стараясь угодить «дураку» Филиппову. Даже лебезил перед ним, унижался без всякой надобности, единственном из заячьего страха лишиться своих ста рублей в месяц.

А Филиппов по хамской манере человека с твердым положением относился к Чернобыльскому свысока, презрительно, даже и видимо не любил его заискиваний.

Часто его грубо обрывал, иногда намеренно не слыхал, что он говорит, и вдруг словно просыпался:

— Так вы что говорите?

И Чернобыльский почтительно повторял иногда и два и три раза одно и то же, а Филиппов все не мог взять в толк, в чем дело.

— Говорите короче и яснее. А то вы точно газетную статью пишете. Так ведь там, батенька, автор построчные получает, а здесь вы у меня время зря отнимаете.

Бывало и так, что Филиппов нетерпеливо его перебивал:

— Ерунда! Черт знает с чем ко мне лезете. Делайте свое дело — большего от вас не требуется, а вы с фантазиями...

И это в ответ на глубоко продуманный доклад Ивана Петровича.

Идя домой, в свою меблированную конурку, Иван Петрович в крайне резкой форме излагал мысленно свое негодование:

«Идиот, зазнавшийся хам. Ведь он сын лабазника, учился в коммерческом и, кажется, не кончил. И мне, университетскому... Я должен был ему прямо в глаза сказать: пострудитесь быть вежливей, наши служебные отношения не исключают порядочности в обращении».

И много, очень много мысленно выговаривал он Филиппову. И не заметно для себя становился уже не подчиненным, а начальником Филиппова, увольняющим его за неспособность.

— Нам такие не нужны! Найдутся с высшим образованием.

Говорил так сам с собою Иван Петрович иногда до самого дома. Случалось ему и миновать свою квартиру и только, пройдя улицу, две, опоминался он и, стыдясь своей рассейнности, возвращался обратно. В эти минуты ему казалось, что все прохожие смотрят на него — кто с любопытством, кто с насмешкой и все узнают, что он замечтался и прошел мимо своего дома. Даже городовой ухмылялся под молодецким рыжим усом.

Иван Петрович чувствовал себя словно раздетым дона-

га. И все его рассматривают, обращают даже внимание на большое темное пятно на ноге, скрытое под одеждой, хохочут, издеваются.

И он, как затравленный заяц, быстро взбегал на пятый этаж, звонил и не входил, а пугливо прятался в свою комнату.

Сердце отчаянно колотилось в груди.

Зеркало отражало бледное лицо с трясущейся нижней губой и широко раскрытыми глазами.

Когда проходил этот припадок, Чернобыльский сразу чувствовал себя ослабевшим.

— Что это со мною? Простудился, заболел?

И решал, что просто «нервное».

Есть, однако, не мог и обыкновенно ложился отдохнуть на диван. Задремывал, но чаще мысли вихрились и прыгали по поводу разных обстоятельств жизни и Чернобыльский опять принимался за их переоценку.

Например, вчера он играл в «21» у знакомых и проиграл, хотя однажды удалось снять порядочный банк. А потому проиграл, что не пользовался счастьем, когда везло, не увеличивал ставок.

Еще и потому, что от выигрыша ему стало как-то не по себе.

Все смотрят и сильно подозревают в чем-то. Это Иван Петрович испытывал, и когда держал банк.

Откроет 20, 21, побьет партнера и — сейчас кто-нибудь скажет:

— Ловко, Ванечка, сделано! Да у тебя поучиться нужно!

Чернобыльский знает, что это шутка, и никто его за шулера не считает, но все-таки испытывает неловкость, какое-то особо неприятное ощущение, словно его кто-то грубо и фамильярно пощекотал.

И, чтобы доказать, что ему все равно, начал ставить и ставить, когда не везло, спустил все выигранное и свои также.

А теперь, лежа на диване, рассуждал здраво и твердо:

— Карты есть карты! Кто боится проиграть, пусть не сядится в азартную игру, церемония тут не у места.

Иван Петрович прекрасно знает, как надо играть и пользоваться счастьем. И мысленно переживал вновь игру, но играл уже как следует, рисковал, удваивал куши вовремя, вовремя и воздерживался.

И не обращал ровно никакого внимания на приятельскую провокацию: «Они нарочно подводят и я сдуру поддаюсь».

Но бывали в жизни Ивана Петровича случаи, при воспоминании о которых лицо заливало краска стыда и хотелось спрятать голову глубоко в плечи.

Он не сумел ответить на кровную обиду Петушкова, скандинную при других в ресторане. Просто промолчал и все смотрели на него с удивлением и насмешкой, и он не знал, куда деваться от стыда и сознания своего бессилия защищить себя прямо и резко, по-мужски.

Но зато, вернувшись домой, он ответил Петушкову, как следует, больше того — ударил его по щеке так, что тот скатился со стула на пол и взвыл глупым, жеребячим голосом. И все это Иван Петрович чувствовал и видел словно в действительности, а не в мечтах.

Много таких случаев испытывал Иван Петрович и всегда был умен, дерзок, находчив и смел как говорится, задним числом.

Он ясно сознавал, что делает все не так, но ни на минуту не относил этого к проклятой робости и забитости, а был твердо убежден, что ему ни в чем не везет и что виновником этого является какая-то вне его лежащая сила, злая, враждебная, вечно его преследующая.

Сначала это были «враги» и такие-то люди, явно его ненавидящие и под него подкапывающиеся. Потом сознание подсказало слово: «судьба».

В этом было что-то предупредительное, не зависящее от его воли.

Но и «враг» и «судьба» не удовлетворяли напряженно ищущего воображения одинокого, забитого человека.

Было еще что-то, что не поддавалось объяснению, какая-то гнусная игра, подлая интрига, подкоп вечный, неизменное подставление ножки и подкладывание свиньи.

Но кто этот «он» или «оны» в реальном мире, Иван Петрович никак не мог догадаться, потому, что по совести, какие же у него, никому не нужного, неинтересного, были врачи и какая таинственная судьба станет заниматься таким ничтожеством?

Хотя почему, однако, ничтожество, когда в душе Иван Петрович чувствует себя иногда Наполеоном?

Нет, тут что-то не то...

II

В это воскресенье, как и во все другие предшествовавшие, Иван Петрович долго лежал в постели и читал газеты, которые ему за дешевую плату приносил газетчик «с возвратом».

Вдруг его точно подбросило. Вскочил босыми ногами прямо на пол, долго не попадал в туфли, уронил газетный лист, долго протирал глаза. Опять рванулся к газете, читал сотый раз и глазам своим поверить не мог.

Да, несомненно, его стихотворение «К ней» напечатано, а посвящение — петитом: «Посвящается А. Н. Клеровой».

Это было до того невероятно, невозможно, что Иван Петрович почувствовал, как на всем его теле выступил горячий пот.

Стихотворение, конечно, его и он, замирая от душевного трепета, вывел ровными буквами «посвящение» и когда писал «К-л-е-р-о-в-о-й», по его сердцу словно кто-то нежно проводил смычком.

Но ни в какие газеты он своего произведения не посыпал и никогда бы на это не решился.

Бросился к столу, отпер ящик, но там валялся лишь весь измаранный и перечеркнутый черновик, а переписанных набело стихов не было.

Несомненно, украли. Забрались в его отсутствие. Но кто, с какою целью?

Иван Петрович не знал, что и подумать, но как-то про

тив воли произнес:

— Опять пакость под меня, интрига!

Сказал и сам испугался.

Это, может быть, в первый раз случилось, что он ясно кого-то обвинял, признал существование врага, проявившего свою злую волю.

— Пойду, проветрюсь!

С силами он собрался, умылся, оделся, поговорил даже с прислугой, но в затылке все время чувствовался словно забитый кол.

С этим ощущением проходил он целый день и спать лег. Обычный порядок был нарушен. Не зашел в знакомый ресторанчик, не поехал в цирк, куда имел даровой билет. Все из боязни встретить приятелей. Сейчас поднимут на смех:

— А-а, наш поэт! Поздравляем, поздравляем.

Наутро оказалось, что по той же причине идти на службу совершенно невозможно.

Особенно смущало посвящение.

С Клеровой он познакомился всего недели две и сразу влюбился. Женщин он почти не знал и они на него внимания не обращали. А здесь молодая, красивая актриса занялась им, кокетничала с ним, делала глазки и, только убедившись, что от этого глупо робеющего до косноязычия человека ничего не добьешься, бросила его и зафлиртовала с другим.

Возвращаясь с этого вечера, Чернобыльский по обыкновению мучил себя долго обвинениями в том, что не сумел отвечать прекрасной женщине, показать ей себя интересным мужчиной, показать свой ум, умение излагать мысли красиво, а вместо того мямлил, краснел, никак не мог справиться с кашей во рту, так что Клерова раза два переспросила: «Что вы говорите?»

И отвечал невпопад, все такими глупыми, пошлыми словами.

Дома, конечно, он опять стал на высоту положения и вел себя с обольстительной Клеровой совсем иначе.

Отвечал сначала горделиво-равнодушным тоном: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей».

Бросал фразу за фразой, красиво, кругло, с глубоким смыслом, с едва заметным подъемом голоса. И в глазах Клеровой, в этих чудных фиалковых глазах, разгоралось любопытство. Заметно начала волноваться, высокая грудь чаще и сильнее поднимала кружевную кофточку.

А он, Чернобыльский, словно и не замечал, и продолжал говорить небрежно, запугивая воображение женщины резкостью и прямотой суждений...

В течение этих двух недель Чернобыльский почти не выходил из дома, разумеется, кроме службы.

Успехи его у Клеровой были огромны и сближение шло гигантскими шагами.

Уже смотрела она на него робко, покорными глазами. «Ты рада быть его рабой».

Но Чернобыльский оттягивал решительное объяснение, испытывая сладость предчувствия, что она первая ему скажет.

И миг настал. Опустив веки с лучами длинных ресниц, вспыхивая румянцем, сказала она ему: «Я вас люблю».

И он коснулся, наконец, этих желанных губ и ощущил под рукою шелестящий шелк, сулящий другие прикосновения в будущем.

Ждать недолго. Клерова назначила ему свидание...

Но в угаре этих фантастических образов, вызванных раскаленным воображением, бывали и минуты просветления.

Чернобыльский сознавал ясно, как он в действительности жалок, ничтожен и мал, как невероятна выдуманная им история любви. И в тоске трезвой действительности написал он лирическое обращение «К ней». Написал и посвящение. Вышло безыскусственно, трогательно. Все равно: никогда ведь никому он не покажет этого листка...

А если бы она прочла? Послать ей?

Чернобыльский не знал адреса и не решился бы спросить у общих знакомых.

А что, если попробовать напечатать, чтобы она прочла?

Но разве это выносят на улицу? Никогда, ни за что!

Но кто-то сделал это за него. На смех, назло ему! Какой-то подлец, негодяй, только бы дознаться, кто.

Решив не идти на службу, поскакал в редакцию. Увидит самого редактора и он ему наговорит!

А впрочем, как доказать? Подписано полностью, «И. П. Чернобыльский». Здесь нет плагиата. Не к чему придираться. Какая тонкая бестия «он», его враг.

Иван Петрович придумал новый план и сам громко рассмеялся, сидя на извозчике.

У подъезда он расспросил швейцара, где контора и пошел прямо туда.

— Мне поручили узнать... Вот, вчера у вас напечатано стихотворение господина... господина Чернокопытова... Мне поручили, собственно, узнать о гонораре...

Конторщик справился по книге.

— Не Чернокопытова, а Чернобыльского.

— Ах да, извините!

— Так что же вам угодно? Господин Чернобыльский может явиться завтра в гонорарный день и получить.

— А нельзя ли узнать, сколько? Он, вероятно, пошлет меня с доверенностью. Сам он не совсем здоров. По-приятельски, знаете. Услуга за услугу. Он меня выручил и я готов. Ну и так далее...

Конторщик посмотрел на него подозрительно, но ответил:

— По 40 коп. за строку, 32 строки, 12 р. 80 к. Завтра, не ранее двух.

Чернобыльский пошел к дверям совершенно ошеломленным. Только одна мысль винтила мозг: «Однако, как меня ценят! 40 коп. за строку, — не шутка!...»

А назавтра он сидел с двух часов в темноватом углу конторы и на вопрошающие взгляды конторщика только опускал глаза.

Около трех стали собираться сотрудники газеты, сгрудились толпой около кассы и прилавка, за которым расписывались в книге.

Ивану Петровичу не было видно вновь прибывающих за жирной спиной судебного репортера.

Вдруг он весь напружиился. Раздался резкий голос:

— Чернобыльский! За стихи «К ней».

Конторщик забасил:

— Вчера здесь заходил один, говорил, что вы ему дадите доверенность — да вон он, в углу сидит.

— Мало ли найдется приятелей! Гонорар за тебя получат, да еще пропьют. Впрочем, я могу показать паспорт.

— Помилуйте, мы и так верим. Сейчас видно...

Иван Петрович дрожащей рукою ощупал паспорт, который всегда имел с собою.

«Вот нахал! Пойду сейчас и уличу».

Через толпу пришлось протискиваться. Как бы не упустить «того»... Человека, выдавшего себя за автора стихов «К ней», он нагнал только на лестнице. С развязным видом, насвистывая веселую песенку, тот прыгал через три ступеньки.

— Милостивый государь! Милостивый государь! Да остановитесь же!

Неизвестный обернулся, и Иван Петрович понял, что погиб безвозвратно.

Перед ним стоял Иван Петрович Чернобыльский. Только не совсем такой, а нахально-развязный, со свободными жестами, без всякой робости и уныния в лице.

Иван Петрович второй презрительно смерил первого и, фыркнув, звонко отчеканил:

— Чем могу служить?

— Извините... но... очевидно, здесь недоразумение... я не знаю, как объяснить... Вы изволили получить гонорар за стихи...

— А вам какое дело?! Напечатал стихи и получил. Всего это как касается, с какого бока?

Иван Петрович второй рассмеялся и понесся вновь по лестнице, насвистывая песенку.

Это было уже нахальство, превышающее всякую меру.

Иван Петрович первый тоже поскакал через три ступеньки в погоню за Иваном Петровичем вторым и едва нагнал его в швейцарской.

Иван Петрович второй был в пальто и шляпе, с тростью в руках, и бросил мелочь швейцару.

«Форсит, проклятый!» — подумал Иван Петрович первый.

У подъезда ждал таксомотор. Чернобыльский-второй быстро отворил дверцу и ловко вскочил в карету. Перед Чернобыльским-первым мелькнуло прелестное лицо Клеровой.

Он взял первый попавшийся таксомотор и помчался вслед за преступной парочкой. Конечно, преступной, потому что ему, настоящему Чернобыльскому, Клерова назначила свидание, а не этому прохвосту, авантюристу. Автомобиль остановился у «Медведя».

Чернобыльский первый видел, как вышла Клерова, видел крутой изгиб ее спины, маленькие высокие каблучки, отстукивающие дробно по тротуару, огромную шляпу. А этот негодяй, самозванец, поддерживал ее под руку.

Иван Петрович решил подойти немедленно и ударить по лицу, но, пока собирался, пара уже скрылась за дверью подъезда.

Решил подождать на своем таксомоторе.

Через час Клерова и Чернобыльский-второй вышли, радостные, смеющиеся, кажется, немного захмелевшие...

Сели и помчались.

Чернобыльский-первый за ними пустился догонять, чтобы настичь негодяя и ее, несчастную женщину, обманутую сходством.

Она ведь уверена, что это настоящий Чернобыльский.

Парочка остановилась у одной дорогой гостиницы, где влюбленные находят приют. И опять Ивану Петровичу не удалось объясниться, и опять пришлось ждать. Но таксомотор он отпустил и ходил с мрачным видом взад и вперед по улице. Удивительно, как городовой еще не сделал замечания!

Ждать пришлось часа три. Клерова вышла с усталым, томным видом и тихим сиянием глаз обдала Чернобыльского-второго, когда он прощался с нею.

Самозванец остался на панели и пошел медленно, покуривая сигару, как человек, добившийся своего и бесконечно довольный.

Иван Петрович не мог выдержать дольше и подскочил.

— Это, наконец, черт знает что, милостивый государь! Извольте сейчас сознаться в обмане!

— Вы с ума сошли! В каком обмане?

— Кто вы такой?

— Я не обязан отвечать.

— Нет, обязаны! Вы присвоили себе мое имя, мою наружность...

Самозванец расхохотался.

— Да разве можно, милейший, присвоить наружность? Проходите — вы, верно, пьяны.

— Не сметь надо мною издеваться! Слышите: не сметь, не позволю! Вы не существуете, вы призрак, галлюцинация... Вы — черт знает что такое...

— Это я-то призрак? Ха, ха, ха! Ну, милейший, этот призрак провел сейчас чудно время с прекрасной женщиной. Какая пылкая страсть! Как она умеет любить! Какое роскошное тело! Не я, она меня многому научила новому...

Чернобыльский-первый бросился на Чернобыльского-второго, но ударился о фонарный столб лбом. Искры посыпались из глаз, а самозванец сидел уже на извозчике, смеялся и посыпал воздушные поцелуи...

Через несколько дней Иван Петрович собрался все-таки на службу. Его тотчас позвал старший бухгалтер.

— Где вы пропадали? Запьянистовали, что ли? Почему не прислали письма?

Чернобыльский начал робко объяснять что-то насчет простуды и болезни, державшей его в постели.

Но не договорил и смолк, потому что его внезапно перебил резкий голос Чернобыльского-второго, неизвестно откуда взявшегося.

— Никаких объяснений я давать такому ослу, как вы, не желаю. Убирайтесь к черту! Я назначен директором правления на ваше место. А за все прошлое вот вам!

И в комнате раздался звук пощечины.

Все засуетились, забегали.

Чернобыльский-первый с дикими воплями боролся с невидимым врагом, катался по земле, кого-то настигая...

— Негодяй, самозванец!

Его с большим трудом удалось связать и отвести в больницу для умалишенных.

ЖЕНЩИНА ИЛИ ЗМЕЯ?

Мой хороший знакомый Х. внезапно заболел припадками острого помешательства. К счастью, сильная натура поборола недуг и Х. совершенно оправился. Интересуясь переживаниями так называемых сумасшедших, я просил его рассказать или написать, как началась его болезнь и что он все время чувствовал. Х. прислал мне довольно длинную исповедь. Я чувствовал, читая ее, что мой собственный ум как бы теряет способность логического мышления. В рукописи действительность и больная фантазия переплелись в такой дико-пестрый узор, что я не мог никак разграничить эти две области: то, что мы называем жизнью в действительности и то, что мы называем жизнью в воображении. Для меня несомненно одно, что была и реальная женщина, была и ручная змея, но отправленный недугом страсти и безумия больной мозг слил эти два существа в один фантастический образ. Я передаю только то, что написал Х. Со своей стороны, я лишь обработал литературно странное, расстрапанное изложение бывшего сумасшедшего.

I

Три года тому назад я снял в Петербурге квартиру вместе с приятелем, таким же холостяком, как и я. Он занял две первые комнаты от прихожей, я — две задние.

Хозяйство вела у нас старая кухарка Акулина, женщина преданная, готовившая за повара. В ее жизни было одно событие, положившее неизгладимый след на все бабье существо. Вышла замуж за молодого, а тот бросил и деньги ее увез. От растерянности бабьего сердца стала Акулина временами запивать.

У нас ей было хорошо. В период трезвенности Акулина была идеальной кухаркой. А когда запивала — мы не очень

претендовали, ходили есть по ресторанам, кое-как сами справлялись с хозяйством.

Причину своего несчастья Акулина видела в злой разлучнице, которая рисовалась ей молодой, красивой и, разумеется, «подлой».

Поэтому Акулина не любила женщин, особенно молодых и красивых и в пьяном виде посыпала им вслед на улице площадные ругательства.

С приятелем мы прожили около года, то наслаждаясь внимательным уходом за собою, то попадая в полосу отчаянной бесхозяйственности.

Но внезапно приятель получил очень выгодное предложение в провинцию и спешно уехал, оставив всю свою мебель и обещая вернуться месяца через четыре.

Тут выступила на сцену расчетливая Акулина и стала мне доказывать изо дня в день, что две первые комнаты можно сдать хорошему жильцу.

— Чтобы только баб к себе не водил.

Многие приходили и смотрели. Акулина всегда вертлась тут же и шепотом давала мне знать, что жильцы не подходящие. Я же совсем ей доверился.

Явился наконец очень прилично одетый господин, смуглый — восточного типа, с заметным серебром в жестких черных волосах.

Акулине он понравился сразу своей солидностью, не-громким, проникающим в душу голосом, какой-то неуловимой вкрадчивостью в обращении с людьми. И когда посетитель осматривал комнату, все время она наклонялась к моему уху и шептала:

— Отдавайте! Жилец хороший.

Я и отдал, тем более что посетитель не торговался и вместо задатка уплатил за месяц вперед.

Через день он переехал. Чемоданы были дорогие, из американской кожи. На одном из них виднелся полусорванный багажный ярлык с надписью «Calcutta».

Откровенно говоря, паспорт этого смуглого, почти бронзового человека меня крайне разочаровал. Я ожидал какой-нибудь трудно произносимой восточной фамилии, оказа-

лось же просто: Иван Петрович Воронов. Я невольно рассмеялся. Очевидно, настроила внешность и эта «Calcutta». Да и по-русски говорил без малейшего подозрения в иностранном происхождении.

Воронов ровно ничем особенным себя не проявил, был неизменно вежлив и любезен, с каждым днем вызывал все больший восторг Акулины, уходил часто на целый день, но у себя никого не принимал.

Я попытался с ним сблизиться, но встретил вежливый сухой отпор, прекративший сразу все попытки.

II

Стояла прекрасная осень. Меня потянуло за город, и я уехал на целую неделю к знакомым, навсегда поселившимся в Финляндии.

Вернувшись, огорченный начавшимся дождем и подъезжающей к своему дому, я почему-то стал беспокоиться, и тревога моя вылилась в совершенно определенную форму: не запила ли Акулина?

На звонок мне отворил жилец. Уже по одному беспорядку, царившему в прихожей, я понял, что опасения мои оказались верными.

Акулину я нашел в кухне. Сидела вся красная перед бутылкой водки и копченой колбасой. Навстречу мне не поднялась, не поздоровалась. А на мой упрек ответила заплетающимся языком:

— Баба у него, баба! И откуда только взялась, понять не могу! Звонка не было, никто не входил, а она у него в комнате, подлая, соловьем заливаются.

— Да тебе-то какое дело?

Акулина помотала головой.

— Это что же такое будет: никто не входил, никто не выдал, а у него в комнате баба!

— Да ты, может быть, спьяну не слыхала звонка, а он сам отпер, как вот сейчас мне.

— Нет! Я всего два дня как разрешила, а баба на второй день, что вы уехали, объявилась. Утро все пропадал... Пришел один. А я никуда не выходила. Откуда же было бабе взяться? А она тут как тут.

Все это показалось мне нисколько не убедительным, и вообще я вскоре перестал интересоваться пьяными кошмарами Акулины. В комнате жильца царила тишина.

Как всегда во время запоя Акулины, мне пришлось обедать в ресторане, а вечером я попал в театр, вернулся домой усталый и сразу заснул.

Ночью разбудило меня словно толчком. Захотелось пить. Освещая дорогу спичками, сходил в кухню, но, вернувшись, никак не мог сомкнуть глаз. Охватила отвратительная ведьма — бессонница. Глаза таращатся в темноте, болезненно напряженный слух ловит малейшее шуршание...

Вдруг в комнате жильца раздался полустоном страстный вздох, и я как-то сразу всем существом почувствовал, что там женщина.

Припомнились слова Акулины. Одолело нечистоплотное любопытство.

Я босиком пробрался в коридор и прильнул ухом к двери комнаты жильца.

— Милый, дорогой...

— Нелли, радость моя!

До меня долетел ясно звук поцелуя.

Стало совестно за свое подслушивание.

Какое мне, в сущности, делю?

Я вернулся в постель и тотчас гнетом легло на меня чувство одиночества.

Захотелось близости, ласки любящей женщины...

Но ведь это так часто бывает с холостяками. Расплата за свободу. Я к этому уже привык. Понемногу справился и убедил себя заснуть.

Утром я вспомнил, что пришел срок платежа за комнату, а денег у меня как раз не было.

Послал Акулину к жильцу. Она вернулась суровая и мрачная от вчерашнего пьянства, и молча сунула мне деньги.

— А барыня та ушла?

— Никакой барыни там нет, что это вы вздумали? Я и в спальню заглянула.

— А как же я слышал ночью женский голос?

— Вот то-то и я без вас слыхала и днем и по ночам, а откуда взялась, когда уходит — неизвестно.

Я решил, что жилец из скромности или по другой причине сам выпускает из дверей свою любовницу и вообще старается, чтобы ее никто не видел.

Опять-таки, не было никаких причин мне беспокоиться и интересоваться любовной интригой жильца. Но я упорно и беспокоился и интересовался. Даже, к стыду моему, стал выслеживать, но ровно ничего не открыл. А женский голос неизменно слышался по ночам, и раза два или три мне почутился он и днем...

Дня через два Акулина, уже окончательнопротрезвившаяся, вошла ко мне и с явно выраженным презрением к жильцу оповестила:

— Тот вас к себе просит!

Воронов сидел за письменным столом, когда я вошел к нему, предварительно постучавшись.

Просьба жильца оказалась весьма простой. Ранее он не пользовался у нас столом, а теперь обратился с этим вопросом ко мне, причем заявил, что, в случае моего согласия, обед должен быть «на двоих».

— К вам будет кто-нибудь приходить?

— Да, одна моя родственница... Видите, это очень дальняя родственница... быть может, ну, словом, она, вероятно, будет жить здесь.

Вся таинственность сразу исчезла. Самый обыденный роман холостого мужчины. Сначала свидания, а там и сожительство на неопределенное и, вероятно, недолгое время.

Признаюсь, что меня это разочаровало. Перед уходом я лениво оглядел комнату, в которой после переезда жильца был всего раза три, и почему-то обратил внимание на низенький круглый столик, которого раньше не было. На нем стояло что-то довольно высокое, тоже круглое, а сверху была наброшена шелковая белая ткань.



Словно подталкиваемый чьей-то чужой властной волей, я подошел и сдернул покрывало. Воронов вскочил и сделал движение в мою сторону. Но было поздно. Весь сотрясаясь от ужаса, не имея силы двинуться ни одним членом, я стоял, вперив глаза в то, что скрывала под собою белая шелковая ткань. Из круглой, открытой сверху клетки мед-

ленно поднималась треугольная змеиная голова с быстро мелькающим из закрытых губ жалом. Все выше поднималась она, широким щитом раздвинулись шейные позвонки, а за ними потянулась колонна напряженного змеиного тела. И в воздухе раздалось злобное шипение, и я не мог оторвать взора от змеиных глаз, тускло горящих красноватым светом. Я был скован по рукам и по ногам и в предсмертной тоске ждал, когда на меня бросится отвратительное пресмыкающееся...

— Успокойтесь! Это моя любимица, Нелли, индийская кобра. Я привез ее из последней поездки вокруг света. Она совсем ручная и слушается меня во всем.

Воронов протянул руку и сказал несколько слов на неизвестном мне языке. Кобра повернулась к нему, освободив меня от гипнотического влияния своего взгляда, потянувшись к руке Воронова, любовно обвила ее и вершком за вершком стала вытягивать из клетки свое тело. Вот и вся вышла, показался конечный перехват и нервно дрожащий тонкий хвост.

Это был экземпляр огромного размера по сравнению с теми очковыми змеями, которых мне раньше удавалось видеть в зверинце.

Кобра с руки перешла на шею, обвилась вокруг нее двойным кольцом и головой прижалась к губам Воронова. Он ее нежно поцеловал.

— Видите, какая ручная и как любит меня. В моем сюртуке вшит даже особый карман, в который она часто забирается.

И кобра действительно потянулась за лацкан сюртука, медленно исчезла под одеждой, а минуты через две высунула свою треугольную головку с молниеносным жалом.

— Вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Нелли ни для кого не представляет опасности. Когда я ухожу, то беру ее с собой или запираю в клетку, откуда ей не выбраться.

Воронов посмотрел на меня странно помутившимся взглядом.

— Да и вообще, скоро всему этому будет конец. Мне надоело это вечное скрывание.

Я ушел в каком-то тумане, плохо осмысливая, что я видел и слышал. И мне как-то не хотелось думать, делать логические выводы, предположения. Я ушел даже успокоенный. Ну, змея так змея. Пусть целуется со своей змеей. Нелли... Женщина... Какая женщина? Просто индийская кобра! И такая противная: как это можно вытерпеть прикосновение к шее холодной змеиной кожи?

— Брр...

III

Я сидел в комнате моего жильца во время его отсутствия. На низкой софе в легком шелковом капоте, положив голову на согнутую в локте обнаженную руку, лежала передо мною прелестная женщина, заполонившая за эти дни все мое существо страстью мечтою, которая казалось то совсем близка к осуществлению, то внезапно становилась далекой, недопустимой.

Елена Александровна Барсова вот уже две недели, как переехала к моему жильцу. Мы с нею познакомились и она в присутствии Воронова просила меня заходить к ней, когда «муж» уходит и ей так скучно. Воронов, усмехаясь под черными шелковистыми усами, подтвердил просьбу «жены».

И с тех пор я прикован к ней. Понимаю ясно все безрассудство мечты. Слышу по ночам шепот, поцелуй, страстные вздохи. Безумно мучаюсь одиночеством и ревнью без всякого права. Киваюсь на одинокую холодную постель, горько рыдаю, стискивая зубами подушку. Потерял весь смысл личной жизни. Потерял охоту жить, потому что жизнь без обладания Нелли кажется мне невозможной.

И это не чувственность к молодой красивой женщине и не то, что называют любовью, это властное порабощение всего меня ею.

Как и когда это случилось? Я думаю, что с первой минуты знакомства.

И теперь она лежит передо мною, вся облитая тонким

шелком, не скрывающим форм ее тела, и огромными темными глазами смотрит на меня пристально, притягивая к себе.

Ничего не могу прочесть в этих глазах: словно окна с опущенными шторами, скрывающими тайну того, что делается там, внутри комнаты. Быть может, там любовно убранная, страстно ожидающая спальня. Быть может, темная сырая тюрьма. Быть может, там ждет радость и наслаждение. Быть может, там совершается убийство...

Она смотрит и я смотрю, не отводя глаз, и оба мы молчим.

Но вот под шелковым капотом высоко поднимается грудь и из полуоткрытого рта вырывается тяжелый вздох.

Заговорила все опять о том же:

— Если б вы знали, как тяжело мне жить! Он поработил мою волю! Он держит меня, как в плену. Я не люблю его, я его ненавижу! Будь он проклят! Но я не в силах бороться. Я часто думаю, что он — гипнотизер и во зло употребляет свою силу. Недаром он путешествовал по Востоку. Он мне даже противен, как мужчина. Грубый сладострастник! Никогда я не думала, чтобы могла подчиниться воле какого-то авантюриста, бросить мужа, детей! Так мало прошло времени с тех пор, как мы сошлись, и я уже успела узнать его всего. Узнать и возненавидеть.

И я умоляющим шепотом говорю ей:

— Бросьте его! Вы ведь знаете, как я вас люблю!

Она едва заметно улыбается одними губами, но огромные печальные глаза смотрят с безнадежной тоской.

— Я знаю, что вы совсем другой! Но расстаться с ним я не в силах. Он держит меня, — чем, я не знаю, — но держит крепко и не выпустит из когтей.

— Любите ли вы меня?

— Не знаю, может быть. Вы мне симпатичны. Вы — хороший, добрый, честный. Не то, что он. Но у вас нет той силы, чтобы отнять меня...

И я уходил от нее обескураженный, не умеющий думать ни о чем, кроме нее, не знающий, что надо делать, какие совершил поступки, какие сказать слова, чтобы она ста-

ла моею, и исчез бы отвратительный призрак этого заклинателя змей...

В одно из таких мучительных свиданий, когда я весь изнывал от сознания, что должен встать, как мужчина, во весь рост, властной рукой притянуть к себе колеблющуюся женщину и увести ее из логова негодяя, я впервые услышал в голосе ее новый оттенок и сердце мое сладко заныло.

— Как мне жалко вас, милый! Я вижу, что вы мучаетесь. И лицо побледнело, под глазами синяки. Вы сами на себя не похожи. И во всем виновата я, бедная! Стать между двумя мужчинами — это ужасно. Мне так жалко вас. Мне кажется, что при других обстоятельствах я могла бы вас полюбить, быть счастливой. Мне иной раз кажется, что я и сейчас вас люблю, но мешает что-то ужасное, лежащее вне моей воли. Бедный мой, как вы умоляюще смотрите на меня и не знаете, что ваш кумир совсем не достоин такого обожания. Если бы вы знали, что я такое!

И она, опрокинувшись на спину, захочотала резким бесстыдным смехом, стирая впечатление нежных, прочувствованных слов.

Я едва узнавал ее. Хищный оскал зубов. Страстно-пьяные глаза вакханки, трепещущие ноздри. Бурно поднимается полуобнаженная грудь.

Меня точно ударило что-то. Горячая волна крови бросилась в мозг и немедленно, раскаляя все на пути своем, стала разливаться по телу.

Проснулся мужчина-зверь. Я бросился к ней, забыв обо всем, одурманенный одною жаждою обладания. Шелковистые руки охватили мою шею. Меня ожгло огнем поцелуя. Я ощущал под руками гибкое, упругое тело. Я уже овладевал ею, мужественно побарывая последнее сопротивление...

Резкая боль в шее заставила меня очнуться. Я полулежал на софе и, прикованный ужасом, смотрел в тускло свечущиеся красноватым огоньком глаза кобры. Треугольная голова и напрягшийся щит то приближались к моему лицу, то отдалялись от него, и сквозь закрытые губы мелькало быстро трепещущее жало. Она обвилась вокруг моей груди.

Я был в ее власти. Она уже укусила меня. Укусит и еще, и еще... Ужас ожидания неизбежной смерти сковал меня. Я силился крикнуть и не мог...



— Вот видите, дорогой мой, как опасно играть со змеями, не умея их укрощать.

Голос насмешливый, вызывающий.

— Нелли, иди ко мне, негодница! Как ты смела укусить моего друга!

Кобра послушно поползла по руке Воронова и спряталась за лацканом его сюртука.

— Надо, однако, помочь вам, дорогой мой! С ядом кобры шутить нельзя. И я посмотрел бы, кто во всем Петербурге избавил бы вас от неминуемой смерти, кроме меня.

Воронов достал баночку какой-то мази. Промыл рану на шее. Наложил повязку. В большом стакане приготовил питье и, несмотря на его отвратительный вкус, заставил меня выпить.

Меня уложили в постель. Как сквозь сон, я слышал воркотню Акулины:

— Говорила, что баба! Баба и есть! Чего от них ждать путевого! Обман один. Вертится, ласкится, заманит человека да и погубит.

Питье, данное мне Вороновым, произвело могущественное действие. Через полчаса тело мое покрылось страшной испариной, и я лежал в мокрых простынях, словно в горячей ванне. Признаки отравления исчезли, но я сильно ослабел и заснул мертвым сном.

Во сне ли, или наяву, — когда я просыпался от жажды, — я прекрасно помню, что к изголовью моей кровати подходила Елена Александровна, гладила меня по голове, подносила к губам освежающее питье и ласково, в душу проникающим голосом говорила:

— Милый, — как мне тебя жалко! Ты такой хороший, так любишь меня! Но у тебя нет силы меня взять, бедный мой!

Помню прикосновение ее губ ко лбу и ее змеистый стан под шелковым капотом, когда она тихо удалялась. Обернулась в дверях и послала мне поцелуй рукою...

На следующий день я встал совершенно здоровый. Воронов вошел ко мне, словно ничего не случилось, и заявил, что, к сожалению, по непредвиденным обстоятельствам он должен немедленно выехать. Расплатился за квартиру и стол, щедро дал на чай Акулине. Несколько раз на прощание горячо жал мне руку.

Я следил из окна за его отъездом. Никакой женщины с ним не было.

Но почему в комнатах сохранился тонкий запах ее духов, а в спальной, под креслом, Акулина нашла тонкую женскую рубашку, всю отделанную кружевами?

И я до сих пор не знаю, кто такая Нелли: змея, силою неслыханных чар превращенная в женщину, или женщина, способная иногда превращаться в змею?

ВЕДЬМА

I

Молодой инженер Полянский вышел из вагона с племдом и легким чемоданом в руках на маленькой, захолустной станции.

Первый раз в жизни забирался он в самую глушь России и с удивлением оглядывался кругом. Тотчас за железнодорожными зданиями сплошной стеной стоял лес. Мрачной, синеватой зеленью отливали могучие сосны и ели. И на душе было тоскливо и одиноко, и жалко было покинутого вагона.

Полянский обратился к седому станционному сторожу.

— Ждут лошади помещика Накрасина?

— Али сами не видите? — буркнул сердито старик, указывая рукой на посыпанный песочком станционный дворик, где пара рослых лошадей, запряженных в тележку, позванивала бубенчиками.

Кучер тоже оказался стариком, мрачным, неразговорчивым.

Захолустье принимало негостеприимно, и настроение Полянского становилось все тоскливей.

Ехали бесконечно долго по просеке. Дорога была отвратительная. Огромные камни. Местами — песок, в котором вязли лошади. Местами — пни и корни. Лишь изредка шли лошади шагом.

Наконец, выбрались на простор. Здесь человек, видно, уже давно победил чудовище-лес. Земля была распахана на большое пространство. Рожь начала уже колоситься. Несколько рабочих возились на дальнем поле. Краснел бабий платок. Откуда-то долетал безыскусственный мотив песни. Серым комом выбежала на дорогу собака. Стало веселей.

А там опять въехали в лес, но уже не такой густой. Дорога шла по берегу озера, то и дело выглядывавшего сквозь

деревья зеркальной гладью.

— Тут-то, за поворотом, и усадьба барская! — соблаговолил, наконец, кучер открыть молчаливые уста.

Дом, большой, хоть и новый, но построенный в старобарском стиле, стоял на самом берегу озера.

II

За обильным, сытным обедом Полянский совсем развеселился. Накрасин был, правда, скучный, толстый человек с маленькими, глупыми глазами. Зато блеском молодой красоты освещали все вокруг его жена и свояченица.

Женщины весело, остроумно болтали, чуть-чуть кокетничали, и Полянский даже забыл, что он горный инженер, приглашенный к богатейшему поместьику для исследования каких-то минеральных богатств.

Накрасин оставил его в покое и, видимо, отложил деловой разговор до следующего дня. После обеда осовел, стал моргать глазами, зевнул два раза со вкусом и, грузно поднявшись, извинился, что пойдет отдохнуть на полчаса.

— А вы тоже не хотите ли уснуть? — спросила Лидия Петровна, жена Накрасина.

Полянский, весь увлеченный новым женским знакомством, даже чуть-чуть обиделся.

— Я еще не обзавелся собственностью.

— Причем тут собственность?

— А как же! Мой дом, мое имение, моя жена, — все это располагает к покою, — задорно отчитал Полянский.

— Да он злой, Аня! — обратилась к сестре Лидия Петровна.

— Нет! Я с ним совершенно согласна. Кто это сказал: «брак — могила любви»? Вот, твой муж женихом бегал за тобой, искал случая увидеться, простоявал часами, ожидая, когда ты пройдешь мимо. Твоя улыбка, твоя ласка, твой поцелуй были для него величайшим счастьем. А теперь... Ну, верю, он любит тебя... Да разве это та любовь- страсть,

которая сжигает человека, доводит его до красоты и ужасов безумия?

— Почему вы о любви, Анна Петровна, говорите, как о чем-то ужасном, безумном? — завладел разговором Полянский. — Красота — да! Но причем тут ужас? Это — высшее наслаждение, блаженство.

— Вы думаете? А я думаю иначе: любовь и смерть — две родные сестры. Испытать все — и умереть.

Лицо Анны Петровны как-то внезапно потемнело, и в темно-серых глазах Полянскому почудились зеленоватые огоньки. Она постояла минуты две молча, повернулась и ушла. Полянский проводил ее изумленным взглядом.

— У моей сестры есть странности в характере, — старалась замять неловкий разговор Лидия Петровна, — не обращайте внимания! Мы к этому уже привыкли. Аня очень жизнерадостна и ровна. Но вот иногда что-то с ней делается. Однако, темнеет: пора зажигать лампы.

Полянский подошел к большому итальянскому окну. Оно выходило прямо на озеро. От воды поднимался белый туман. Лес едва чернел сквозь густую пелену испарений. Туман поднимался все выше, вползал на крутой берег, окутывал ватой кусты, тихо подбирался к дому и бледными руками тянулся в окна и, казалось, чьи-то бледные, прозрачные пальцы беззвучно трогают стекла, просятся сюда, в светлую, такую приветливую, веселую комнату.

— Вам не страшно здесь, в глухи? — спросил Полянский Накрасина, пришедшего с помятым после сна лицом.

— Ну, батенька, я ведь не ребенок и детским сказкам не верю,

— Каким сказкам?

— Ах, да ведь вы ничего не знаете! Прелюбопытная история! Если хотите, загадочная, таинственная. Но я думаю, что, будь у нас порядочные следователи и врачи, все бы оказалось делом самым простым. Вот, я вам сейчас расскажу...

— Охота тебе уговаривать гостя этими ужасами! Особенно на ночь, — пыталась остановить мужа Лидия Петровна.

Накрасин рассмеялся.

— Ты лучше, Лидок, вели нам того коньяку. Знаешь, ко-

торый я специально выписал из-за границы... Вот, видите ли. Хотя этот замок в лесу я сам строил, но о нем уже ходит легенда. Я здесь с женой и свояченицей живу уже седьмой год и за это время случилось два действительно странных происшествия. Раз, утром, на том берегу озера, — там почти сплошь болотистая почва, — нашли труп молодого рабочего-смолокура. Горло у него оказалось перегрызенным. Это было года четыре тому назад. Наехала полиция. Началось расследование. По обыкновению, ничего не выяснили и предали дело воле Божьей. Второй случай произошел два года тому назад и тоже с молодым человеком. На этот раз с моим сельскохозяйственным работником, Иваном. Он вернулся ночью с искусанной шеей. Всех перепугал. Бледный, как смерть. Немного оправившись, рассказал какуюто чертовщину. Шел он, видите ли, по берегу озера. Вдруг на него накинулась не то ведьма, не то русалка. Полуголая. Он бросился бежать. Она его догнала, повалила, стала грызть горло. Едва вырвался и спасся. Мы об этом случае властям не сообщали. Раны оказались незначительными, но рабочий сейчас же расчелся и ушел. Сюда ведь дальние приезжают. Говорили еще потом, что у берега озера видели белую женщину. Какой-то призрак! Все это, разумеется, чепуха, но легенда существует, и на тот берег озера едва ли кто рискнет пойти ночью.

— Как же вы объясняете себе эти случаи?

Накрасин медленно отхлебнул коньяку.

— Я, батенька, не Шерлок Холмс. Но, думаю, что раз грыз кто-нибудь горло, до смерти или не совсем, то этот «кто-то» какой-нибудь зверь. Собака, может быть, одичалая. Волк... Повторяю: хороши наши следователи и врачи! Ведь есть научные методы...

— Позвольте: а белая женщина?

— Мало ли что дуракам пригрезится со страха! Туман, действительно, принимает иногда странные формы...

— Но ты забываешь, — раздался голос, заставивший Полянского оглянуться, — что рассказывал еще Иван. Представьте себе, он уверял, что «белая женщина» ласкала его, целовала. «Ажно, — говорит, — у меня сердце зашлось: та-

ково сладко». А потом стала грызть. Какая же это собака?

Вся в розовом, колеблясь стройным станом, стояла перед ними своячница, Анна Петровна, веселая и смеющаяся. Алые губы обнажали полоску влажного перламутра. Ярко и насмешливо сверкали глаза.

Накрасин насупился.

— Охота тебе, матушка, повторять всякие глупости!

III

Полянский живет у Накрасиных уже почти две недели. Целые дни ходит с рабочими по лесу, по крутым, извилистым берегам лесной речки, где помещик предполагал залижи руды.

Пришлось повозиться немало. Все утро в ходьбе. Потом наметил места для бурения. Делал химический анализ собранных Накрасиным образцов.

Побывал Полянский и на том берегу озера, низком, болотистом, и стал расспрашивать рабочих о легенде.

Отвечали неохотно. Будто обижались на легкомысленный тон инженера. Один старик не выдержал:

— Ты, барин, не шути! Ивана-то чуть до смерти не защырзла, а того-то, царствие ему небесное, вконец порешила. Я сам смотрел. Она, нечистая-то сила, кровь из него высосала. Лежал восковой весь...

После обеда и до самого сна Полянский обыкновенно проводил время в обществе молодых женщин.

Из двух сестер ему больше нравилась замужняя, Лидия, но Анна дразнила его тонким кокетством.

Это злило молодого мужчину, и он давал себе слово ухаживать только за Лидией и отдыхал, греясь душой в кротком, теплом свете ее прекрасных глаз. Ее нежная ручка отвечала на его пожатие. Успех казался несомненным. Но опять им овладевала Анна, смеющаяся, дразнящая.

Однажды, вечером, своячница сообщила новость: белую женщину опять видели.

— Вот нашелся бы смелый человек — пошел туда ночью. Все мы только уверяем, что не боимся чертовщины, а пойдет интеллигент на кладбище ночью, сейчас у него галлюцинации, замирание сердца, нервное потрясение. Словом, та же трусость. По-моему: верь — так верь, или не верь и не трусь. Если бы я была мужчиной, непременно бы пошла и разобралась, в чем дело.

— И получила бы сильнейший насморк! — засмеялся Накрасин.

Полянский промолчал, но в голове его засела неотвязная мысль: «Надо показать себя перед Анной смелым мужчиной». И, когда встретил ее в коридоре, сказал вполголоса:

— Я иду сегодня в полночь на свидание с белой женщиной.

Она только блеснула на него глазами и чуть-чуть улыбнулась, недоверчиво качая головой.

Когда Полянский ушел, наконец, в свою комнату, в глаза ему бросилась записка, приколотая булавкой к подушке:

«Не решайтесь на это безумие: белая женщина действительно существует...»

Полянский не был трусом, но его охватило жуткое чувство, когда он стал спускаться с пригорка к болотистому берегу озера.

Мертвенный лунный свет, колеблющиеся туманные призраки, жалобный, заунывный стон какой-тоочной птицы... И вдруг издавающийся хохот рассыпался по лесу, переходя в дикое гоготание. Полянский остановился.

— Какой я дурак: ведь это — филин!

Он присел и закурил папиросу. Но руки его все-таки дрожали.

— Не просидеть ли здесь до утра и сказать, что исходил весь берег?

Но сейчас же возмутилась вся гордость молодого мужчины.

— Я обещал женщине! Я дойду! Чего бояться: у меня заряженный револьвер!

И он быстрыми шагами спустился к берегу, шлепая охот-

ничими сапогами по мочажинам.

Кругом обступала белая стена. Насквозь прохвачивала сырость. Иногда из тумана внезапно выступал длинный кри-вой сук, словно иссохшая рука хватала и пыталась остановить.

Полянский натыкался на кусты, скользил и падал по рыхтвинам. Раза два срывался в самое озеро. Но шел и шел вперед, не ощущая страха и стараясь только победить расстояние.

Наконец, впереди стало светлее. Зачернели стволы со-сен. Еще несколько шагов, и он выбрался на более высокое место. Тумана не было. Лунный свет ярко озарял все вокруг. Полянский вздохнул полной грудью.

— Ну, прошел насквозь болотную чертовщину!

Чувство совершенного подвига подняло его в собственных глазах и окончательно ободрило.

— Ну, белая женщина, где же ты? Иди сюда!

И, набравшись смелости, он несколько раз, громким голосом, вызывал ужасный призрак. Только эхо было ему ответом.

Полянский рассмеялся и пошел дальше, чувствуя себя героем. Внезапно захолонуло сердце: в кустах ясно мелькнуло что-то белое. Еще и еще... Потом пропало.

— Чудится! — успокоил себя Полянский, и, ускорив шаг, вышел па полянку. — Конечно, ничего нет!

Обернулся назад, словно от толчка, и дико вскрикнул.

Из чащи к нему неслась полуобнаженная женщина, простирая вперед белые руки. Распущеные спутанные волосы почти закрывали лицо. Только сверкали глаза двумя яркими звездами.

Полянский бросился бежать, но, споткнувшись о кочку, упал. И сейчас же на него навалилось чудовище. Сердце так билось: сейчас лопнет!

Но что это? Она не душит его. Нет. Она прижимается к нему молодым страстным телом, целует без конца. Нашла губы и впилась в них...

И, в порыве жгучих ощущений, он почувствовал, как в горло его впиваются острые зубы.

С невероятным усилием освобождается он из ужасных объятий. И, весь трепеща от еще неостывшей страсти и жажды борьбы за жизнь, стреляет в нее пуля за пулей...

Недвижно лежала она, широко раскинув руки, и тихо стонала. Темные пятна расплывались по белой сорочке.

Полянский дрожащей рукой откинул густые, спутанные волосы.

На него глянуло знакомое, столь желанное лицо Анны Петровны. И уста ее, покрытые его кровью, раскрылись с улыбкой и прошелестели:

— Любовь и смерть — родные сестры!



ЧЕЛОВЕКЪ БЕЗЪ КОСТЕЙ

I

Время шло и шло. Стрелка часов словно торопилась пройти круги и указать Кошелеву на роковую цифру, когда уже всякая надежда будет потеряна. А он тщетно ломал голову и все никак не мог выдумать денег.

Ресторан был полон. В душном, прокуренном воздухе стоял гул голосов.

Гремела посуда, толкаясь, пробегали лакеи с блюдами. Деловые люди быстро поглощали обед, расплачивались и уходили. А Кошелев все сидел за кружкой пива под враждебными взглядами слуг, сомневающихся в уплате по счету и в чаевых.

— Позвольте присесть за ваш столик.

— Пожалуйста! — машинально согласился Кошелев.

Длинный, худой господин с бледным лицом, с заостренным, как у покойника, носом и огромной синевой под глазами медленно опустился на стул.

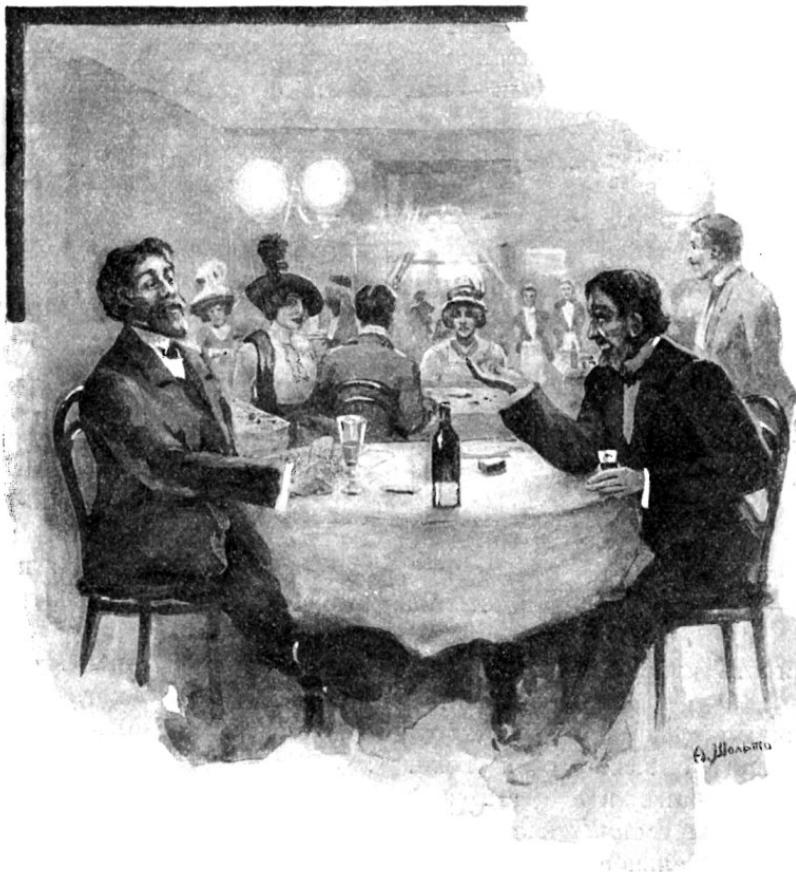
«Словно аршин сложился» — пришло сравнение в голову Кошелева.

Посетитель спросил красного вина и едва отхлебывал из стакана, дымя сигарой.

Оба пили и молчали.

— Извините, — обратился вдруг к Кошелеву длинный и худой, — я, видите ли, занимаюсь разными исследованиями по части психологии, вернее, психофизики. Меня крайне интересует один вопрос: как душевные переживания от-

ражаются на лице человека? Еще раз извиняюсь за назойливость, но мне кажется, что вас угнетает, больше того, подавляет какая-то мысль, то, что называется *idee fixe*.



Кошелев дошел до того состояния, когда совершенно все равно: говорить ли с близким или с первым встречным.

— Да, вы правы!

И рассказал о своих неудачах, о тяжелом семейном положении, о бесплодных поисках денег.

— Завтра праздник, а у меня дома сидят без гроша. Если не достану денег до пяти часов, впору утопиться.

Длинный и худой странно улыбнулся, словно череп оскалил зубы.

— Нет, вы не кончите сегодня самоубийством.

— Почему вы говорите так решительно?

— Человек, который скоро умрет, имеет на лице некоторые роковые черты. Я научился их угадывать от одного ученого, который провел долгое время в Индии.

— Ничего не понимаю! Я совершенно здоров, а близость смерти можно, конечно, ждать — например, врачу, по болезненным признакам. Самоубийство же зависит от меня самого, от моего настроения, но еще больше от внешних условий, которые предвидеть нельзя. Вот я послал к одному знакомому письмо с просьбой прислать денег. Если ответ будет благоприятный, чего ради я буду думать о расчете с жизнью? Я жить хочу.

Длинный и худой второй раз показал оскал черепа.

— Вы рассуждаете, не имея понятия, о чем говорите. Роковые черты накладывает не болезнь, не личное настроение, не стеченье обстоятельств, а нечто властное, лежащее вне жизни людей. Печать смерти!

Кошелеву, и так расстроенному неудачами, стало жутко.

Странный собеседник вызывал невольно суеверный страх и вспоминались старые, забытые силы: колдун, выходец с того света, человек, продавший душу дьяволу за знание тайн жизни...

Пришел посыльный и принес письмо. Уже на ощупь Кошелев угадал, что денег в конверте нет, а только визитная карточка. Конечно, с самым вежливым отказом.

— Что делать теперь?! — вырвалось у Кошелева. — Последняя надежда лопнула!

Он подперся обеими руками и закрыл ими лицо.

— Видите, — раздался сухой, деревянный голос собеседника, — у меня есть деньги, но я никогда никому не даю взаймы. Ни копейки! Каждый должен доставать сам. И вы также.

— Но как? Научите, посоветуйте! Время не ждет...

— У вас нечего заложить или продать?

— Все, что было возможно, уже сделано...

— Тогда продайте самого себя!!

Кошелев почему-то вздрогнул, но сейчас же рассердился.

— Что вы? Шутите надо мною, издеваетесь?

— Нисколько.

— Но я... я не женщина...

— Вы меня не так поняли. Когда говорят о женщине, что она продает себя, это условно. Не себя, а свою любовь она продает. А я предлагаю вам продать свое тело, свою физическую оболочку совсем.

— Не понимаю, о чем вы говорите.

И третий раз худой и длинный показал осколок черепа.

— Не пугайтесь и не бледнейте! Я не советую вам совершить что-либо ужасное. Напротив, очень простое. Вы слыхали, что военно-медицинская академия покупает скелеты у желающих, разумеется, с тем, чтобы воспользоваться ими лишь после смерти? На паспорте ставится клеймо: «скелет продан» и извещается полиция о совершившейся сделке. Поезжайте и заявите. Вам выдадут 25 р.

— Как? Только?

— А вы думали, что ваш скелет стоит миллион? Академия продает скелеты в разобранном виде за 15 р., а в собранном за 40 р.

Стрелка часов перешла четыре.

— Спешите! Не опоздайте! Там только до 5 часов.

Кошелев сорвался с места...

II

Отдавая деньги обрадовавшейся, истомившейся от ожидания жене, Кошелев не чувствовал удовольствия, испытываемого мужчиной, когда он дает деньги женщине.

Конечно, он скрыл, откуда у него явились в руках два больших золотых, три рубля зеленой бумажкой и серебро.

«Цена твоего тела!» — подсказал голос, похожий на сухой треск, издаваемый живым скелетом — странным собесед-

ником в ресторане, худым и длинным, с обострившимся, как у покойника, носом и огромной синевой под глазами.

Жена радовалась, давно не видавшая золота, и ласкала его и перекидывала из руки в руку, и в лукавых глазах отражались отблески родственного женщинам металла.

«Цена твоего тела»!

— Ничего ровно не случилось, все это расстроенные нервы, — уговаривал сам себя Кошелев.

Но не мог избавиться от чувства утраты чего-то.

Он делал свои обычные дела и забывал часто, особенно при успехе, и странную встречу в ресторане и продажу скелета. Но в минуты тоски и уныния овладевало им мучительное ощущение. «Скелет продан»! И он ощупывал ноги, и руки, и ребра, тихо постукивал согнутым пальцем по черепу. «Не мои кости — проданы!»

Воображение рисовало ему не агонию смерти, а то, как он, то есть не он, а его кости, будут собраны на проволоках и будет улыбаться вечной, костяной улыбкой череп, и спинной хребет поддержит железный штатив. Придет профессор, соберутся студенты с молодыми, серьезными лицами. Бледный палец со старческой кожей, изморщившейся на мякоти, будет трогать бесстыдно обнаженные кости его, Кошелева, и сухим, деревянным голосом перечислять латинские названия.

А он будет улыбаться и живому скелету науки, и жаждущим знания молодым, сильным телам жизнерадостной молодости...

Но явилось и иное чувство — чувство какой-то обязанности. «Скелет — не мой, я должен его хранить и оберегать».

Кошелев, чего не было прежде, боялся попасть под трамвай, остерегался извозчиков и автомобилей. И когда однажды сломал руку, то поймал сам себя на нелепой мысли:

«Я испортил доверенный мне скелет!»

Внутри Кошелева поселилось что-то чужое, не «его», не ему принадлежащее, проданное в кабинете профессора, с золотыми очками, оседлавшим крупный нос, красный, бугроватый с двумя темными безднами больших, длинных

ноздрей.

Положение становилось все более невыносимым и Кошелев, поправившей было свои дела, запил.

В минуту пьяной откровенности и теплой близости он сознался жене, что продал скелет.

Она на это не сказала ни слова осуждения, даже пошутила: «Когда у нас не будет денег, я продам тоже свой скелет».

Но с тех пор Кошелеву стало казаться, что жена относится к нему иначе, чего-то недоговаривает, словно даже ласкает и целует через силу.

Было ли это так на самом деле или только кошмарное представление самого Кошелева?

Но он мучился и бранил себя, что открыл роковую тайну.

Пьянство продолжалось и хмельной угар раскалял и без того пораженный болезненными фантазиями мозг.

Однажды, шатаясь, с мутными глазами, подошел он в своем обычном ресторане к двум репортерам, грустно сидевшим около выпитого маленького графина и остатков редиски на тарелках. Тяжело шлепнулся на свободный стул.

— Ну, что вы носы повесили? Денег нету?

— Это, кажется, не требует комментариев, — оборвал густой брюнет. — Сами видите — сели маком и как еще выберемся, неизвестно.

— Давайте-ка лучше вместо рассуждений рубля два, — мрачно надвинулся блондин.

— Денег я не дам, но посоветовать могу.

— Ну, черт с вами, советуйте!

— Продайте свои скелеты в военно-медицинскую академию. Дают по 25 р. Я и телефон вам скажу для заявки.

Репортеры оживились.

— Да правда ли это? Как же мы не знали этого раньше? Продать скелет! Да черт с ним, со скелетом! На что он нужен? Сделайте одолжение — берите. И на похороны расходов никаких. И даже польза для отечественной науки.

— А вы не боитесь продать свое тело?

— Мертвое? Да какое нам до него дело? Извольте! На

удобрение полей! На обучение студентов! На выделку маргарина, которые люди потолще...

— Нет, ты только послушай! Вообрази себе, что об этом узнают всюду. В Петербурге 2.000.000 жителей. По крайней мере 500.000 охотно продадут свои скелеты. Это составит приличную сумму в 12.500.000 р., ассигнование которой должна утвердить Государственная Дума.

— В Государственном Совете не пройдет...

Кошелев был поражен этим фонтаном веселости по такому страшному поводу, как продажа скелета.

Он вернулся домой с отяжелевшей головой, весь осел книзу от алкоголя и с трудом пробрался на свой пятый этаж. Не раздеваясь, бросился на диван в кабинете и захрапел.

Ночью проснулся. Внутри все горело, напился сырой воды из-под крана и опять завалился спать.

Его пробудило странное ощущение, трудно передаваемое словами.

Он лежал на диване и чувствовал себя совершенно беспомощным.

Все тело изнывало в мучительной истоме и в нем происходило что-то необычайное. Ныло повсюду нудной болью, куда-то тянуло, что-то выпирало наружу.

Тайна наконец объяснилась. При свете ранней петербургской зари Кошелев увидел рядом с собою белый, блестящий скелет, нахально улыбающийся и посыпавший ему воздушный поцелуй!

— До свиданья! — раздался сухой, деревянный треск, — au revoir! Я в Академию. Откровенно говоря, мне надоело возиться с вашим пропитанным алкоголем телом.

— А я как же? — жалобно заныл Кошелев.

— А вы как хотите, дорогой мой! Моя миссия гораздо выше вашего грозного существования. А-ла-ла! Ла-ла-ла!

И скелет бодрой походкой направился к двери, надев цилиндр, и захватил трость.

Кошелев сполз с дивана, именно сполз, потому что, не поддерживаемый костями, он походил на огромного слизняка с расплывающимся телом. Кое-как добрался до окна.



Изумительное зрелище представляла улица. Шли и шли скелеты, большие, поменьше, маршировали, веселились, подбодряли друг друга веселыми песенками. Дружно шли на военно-медицинскую академию...

Кошелев и сейчас жив. Он помещен на Удельной, ползает по полу и жалуется, что скелет его бросил, и он не может ни ходить, ни стоять.

КЛУБ БЕЗЖЕЛУДОЧНЫХ

I

Опыт доктора Кандаурова произвел огромную сенсацию в ученом мире.

В своих лекциях Кандауров еще ранее доказывал, что желудок, а, с другой стороны, толстая и прямая кишки являются необходимыми органами животного лишь в зависимости от способа питания. Человек и животные принимают пищу грубую, неудобоусвояемую, и потому нужен желудок, чтобы подвергнуть ее тому процессу, который называется пищеварением. Нижний же отдел кишечника есть не более, как коллектор нечистот, опять-таки являющихся следствием употребления грубой пищи.

Если бы организм питался высокопитательной и совершенно усвояемой микстурой, он нуждался бы только в одних тонких кишках, а желудок и нижнюю часть кишечника можно было бы удалить без опасности для жизни и здоровья.

Рассуждения эти, пока они оставались в теории, вызывали немало возражений и споров.

Кандаурова даже высмеяли в сатирическом журнале.

Иное заговорили все, когда опыт удался. Кандауров произвел его над молодой собакой из породы догов.

Желудок и нижняя часть кишечника были удалены. Операция удалась блестяще. Животное чувствовало себя, по-видимому, прекрасно, было весело, жизнерадостно.

Собака прожила три месяца, питаясь особой микстурой, и погибла совершенно случайно. По недосмотру сторожа выбежала, без намордника, из отведенного ей помещения и наелась сырого мяса, которое, без предварительной обработки в желудке, вызвало смертельное воспаление кишечника.

В обнародованном Кандауровым дневнике наблюдений имеется, между прочим, следующее рассуждение:

Поразительно влияние операции на психику и развитие интеллектуальных способностей. Альма (собака), злая и кривожадная, как все доги, стала изумительно кроткой, послушной, почти не проявляя звериных инстинктов. Умственные способности ее повысились до такой степени, что сторож-чабан не раз говорил мне: «А ведь Альма, барин, у нас скоро говорить начнет». Собака до того понятлива, что легко усваивает то, что у «чудо-собак», показываемых в цирке, достигается лишь путем долгой и трудной дрессировки.

Мне кажется, — добавляет Кандауров, — что, если подобную операцию произвести над человеком, он много выиграет как в умственном отношении, так и в развитии гуманных чувств и понижении эгоистичных инстинктов. Быть может, именно этим путем человек переродится и возвысится до осуществления в жизни идеи братства.

Фраза эта, брошенная ученым более для иллюстрации своей мысли, имела, однако, чрезвычайно важные последствия и повела к одной необычайной человеческой драме.

II

Ассистент Кандаурова, Ветвицкий, принадлежал к особому типу ученых, успех которых весь основан на риске. Это — азартные игроки в области медицины.

Ветвицкий прославился смелостью своих операций. Исход их был почти всегда благополучный, но многое заставляло товарищей осуждать оператора, который не находил даже нужным сообщать пациентам о грозящей им опасности, а однажды сделал операцию больному, не предупредив его, под видом осмотра под хлороформом.

Ветвицкий был ярым поклонником Кандаурова, но упрекал своего учителя в недостатке смелости. По его мнению, после опыта над собакой его надо проделать с человеком. Бывают же больные с круглой язвой желудка, раком или с

травматическими повреждениями пищеварительного органа! Вовсе не надо их предупреждать, а взять и вырезать желудок и, кстати, часть кишечника.

Кандауров, конечно, не соглашался с такою, по его мнению, едва ли не преступной точкой зрения.

Очень может быть, что Ветвицкий при удобном случае и выполнил бы свой план, но внезапно дело сложилось совершению иначе. К нему явился средних лет здоровый мужчина и просил уделить время, как он выразился, для крайне важной беседы.

— Черепков, — рекомендовался посетитель, — преподаватель средней школы. А явился я к вам вот зачем. Изучая на досуге социологию и общественные науки, я пришел к заключению, что главной причиной жестокости и несправедливости человеческой расы является функция питания. Когда человек насыщается, он всегда зверь, всегда эгоист, способный перерезать горло ближнему. Когда он насытится, он ко всему равнодушен, и вид человеческих страданий его не трогает. Но этого мало: именно питание есть причина неравенства людей, потому что нигде и ни в чем так ярко не отражается различие между бедным и богатым, племенем и аристократом, как в пище. Я не говорю уже о людях, сделавших из еды настоящий культ. Вспомните древних римлян и теперешних обжор.

— К какому же выводу вы пришли и для чего, смею спросить, вы все это говорите мне?

— Сейчас узнаете! Итак: главное зло мира — желудок и его требования. Надо удалить его и человек станет другим. Я предлагаю опыт этот проделать надо мною. И если операция удастся, я буду всюду проповедовать: «Люди, обновляйтесь, освободитесь от деспотической власти желудка и толстой кишки!»

— А если операция будет неудачна?

Черепков посмотрел на Ветвицкого и улыбнулся широкой, во все лицо, улыбкой.

— Тогда... тогда преподаватель средней школы — тю-тю!

«Уж не сумасшедший ли? — подумал Ветвицкий. — Впрочем, не все ли равно в смысле научного опыта?»

Черепков дал формальную подпись, что он согласен на такую-то операцию и, в случае неудачи ее, Ветвицкий не является лицом ответственным.

Никто из врачей не решился ассистировать при этой чудовищной операции, казавшейся многим преступлением. Отказались и фельдшерицы. Но Ветвицкий совершил все с одним из своих более смелых помощников.

Черепков лежал под особым присмотром, а Ветвицкий с горделивым самодовольством показывал коллегам желудок и толстую кишку преподавателя средней школы, препарированные в спирту.

Операция удалась блестяще. Никаких осложнений не было, температура оставалось нормальной, и через две недели Черепков встал. Он был в восторге. Он следил за собственными ощущениями и говорил всем, что никогда еще не испытывал такой легкости в теле, такой свободы от «земной тяги».

— Меня тянуло вниз, пригвождало к земле — теперь словно крылья выросли за плечами — так и полетел бы ввысь.

Питался Черепков исключительно особой кашицей и пил микстуру, приготовленную по рецепту Кандаурова, и находил их превосходными.

Опыт с человеком вызвал целую бурю в печати. Ветвицкого почти все осуждали. Черепкова считали за фантазера, быть может, психически больного.

В правой прессе поднимался вопрос о Ветвицком и Черепкове с точки зрения богословской и они признаны достойными строгого осуждения церкви.

Уличная пресса была переполнена интервью и анкетами:

«Человек без желудка». «Человек, никогда не обедающий». «Сверхвегетарианец». «Обновление человечества». «Нет больше гастрономов». И т.д.

Левые газеты и журналы отнеслись крайне осторожно и больше интересовались влиянием операции на психику и развитие гуманных чувств.

Само собою разумеется, что со временем газетный шум

стих и Черепковым перестали интересоваться. Ну и пусть живет без желудка — кому какое дело!

Черепков, однако, не довольствовался личным «обновлением», но рьяно начал проповедовать идею безжелудочного существования. И вскоре нашел себе последователей — шесть человек, которые легли под операционный нож и все благополучно вышли из чудовищного испытания сил организма.

Так основался «клуб семи» или «клуб безжелудочных».

Члены собирались почти ежедневно в особой квартире и проводили время за чтением и разговорами, играли на бильярде, упражнялись в гимнастике, а в известный час колокол возвещал, что пора принимать питательную микстуру.

Они уверяли, что существование их во всех отношениях прекрасное и не оставляет желать ничего лучшего.

Случайные гости, проведя вечер с безжелудочными, говорили, напротив, что в их клубе «мухи дохнут от скуки!»

III

Среди «безжелудочных» был только один человек моложе тридцати лет, так же, как и остальные, холостой. Впрочем, Черепков вкусили в жизни радости семейной обстановки, но жена его оставила еще в то время, когда он только забредил о безжелудочности, а после операции и слышать о нем не хотела.

Женский вопрос не раз поднимался в клубе и решен был в одном смысле: подругой жизни безжелудочного может быть только женщина безжелудочная.

Но где найти девушку или женщину, которая решилась бы испортить красоту тела красным шрамом на животе и отказаться навсегда от конфет, фруктов и всей сложной гаммы вкусовых ощущений?

Однако, такая девушка нашлась. Эмилия Ратнова влюбилась в самого младшего и самого богатого из членов клуба безжелудочных, Вельтищева, а он в нее.

Среди любовных объяснений Вельтищеву удалось убедить свою невесту отправиться к Ветвицкому и «освободиться от власти желудка».

Эмилия долго колебалась, но наконец, бросившись в объятия жениха и спрятав голову на его груди, прошептала дрожащим голосом:

— Я согласна!

Операция и на этот раз удалась прекрасно, и Эмилия, побледневшая после двухнедельного лежания в постели, с томным выражением глаз сказала Вельтищеву:

— Теперь мы связаны навеки.

Свадьба была пышно отпразднована и на ней присутствовали все безжелудочные.

Особенно странное впечатление производили они на обеде, роскошно сервированном. В то время, как гости восхищались искусством повара и поглощали кушанья за кушаньями, запивая их тонкими винами, безжелудочные ели только питательную кашицу и чокались с поздравляющими молодых бокалами питательной микстуры.

Супруги зажили, по-видимому, счастливо.

Вельтищев нередко поднимал вопрос о будущих детях. Их, конечно, надо «обезжелудить» в самом юном возрасте.

— Это будут поистине живые люди. Их воображение не будет отравлено вкусовыми ощущениями, они никогда не будут раскаиваться в том, что не могут потешить желудок лакомствами. Гидра эгоизма будет убита в них с детства. Новое поколение будет чище и лучше нас. Со временем желудок сам собою атрофируется и у безжелудочных родителей будут рождаться прямо безжелудочные дети.

Эмилия слушала, мечтательно глядя куда-то вдаль, словно хотела умственным взором увидеть это будущее счастливое поколение...

Эмилия заскучала. Быть может, это обычное состояние женщины в предчувствии материнства? Вельтищев был готов на все. По совету врачей молодые поехали в отдаленную деревню, чтобы среди нетронутой природы Эмилия могла запастись силами и подготовиться к ответственной роли матери.

Пришлось взять с собою запас питательной кашицы и микстуры, которые лаборатория клуба безжелудочных изготавляла и в консервированном виде, способном выдержать большой путь и продолжительное хранение.

Вельтищевы запаслись нужным количеством эликсира жизни, но погода стояла такая прекрасная, так хороша была любовь среди зелени лугов, под прохладной сенью леса, под звуки журчащего ручейка! И супруги решили остаться еще на неделю, может быть, на месяц.

Жизнь безжелудочных искусственна, как и жизнь алкоголиков и модернистов: без своих особых веществ прожить они не могут.

Вельтищев телеграфировал в клуб о высылке нового запаса.

Получение его почему-то задержалось.

Вельтищев начал беспокоиться. Всего на два дня осталась кашицы и микстуры.

Ездил на станцию, подавал срочные телеграммы. Клуб ответил, что транспорт выслан...

Но пришел день, когда остались одна коробка и один флакон. Голодная смерть встала перед молодыми супругами нешуточной угрозой.

Наконец, когда безжелудочные жили уже уменьшенной порцией, получилось извещение о прибытии на имя Вельтищева груза. Он поскакал на станцию.

Голодный, с возбужденным видом бросился он в контору и предъявил квитанцию.

Ему выдали.

Но что это? Случилось нечто ужасное. Посылка состояла из громадных пластинок. Перепутали.

А Вельтищев, уезжая, еще сказал жене:

— Доешь остатки! Я потерплю!

И она наградила его благодарной улыбкой.

Что делать? Ехать, взять экстренный поезд, мчаться 100 верст в час туда, в город, в свой клуб, где спасение жизни обоих...

Но все это требовало времени, и большого времени. Вельтищев с отчаянием в душе поскакал домой... Что он

скажет несчастной Эмилии?

По дороге он проклинал идею безжелудочности.

К удивлению, Эмилия встретила роковое известие довольно хладнокровно.

— Что же, милый, потерпим!

Вельтищев плакал от умиления.

Прошли почти сутки голода. Вельтищев чувствовал, как силы его слабеют, но твердо держалась Эмилия.

«Женщина выше мужчины», — решил Вельтищев к концу второго дня. Употребляя лишь одну воду с сахаром, с отчаянной головной болью, он поехал вновь на станцию справиться о заказанном поезде.

Опять задержка. Только завтра в три часа. Но они умрут до тех пор, оба умрут!..

Едет назад, как осужденный на смертную казнь. И не один, а с прекрасной, чудной женщиной.

Подъезжает со смертельной тоской души к маленькому сельскому домику. Его ждет картина ужасных страданий голода. Не решается войти. Крадется, заглядывает в окна.

Вздрогнул весь, и холодный пот облил сразу всего, вызывая мучительную дрожь в спине.

Эмилия сидела в маленькой комнате около столовой и кушала кровавый бифштекс, запивая его портером.

Вельтищев бросился, как безумный, к жене.

— Остановись! Это смерть!

Она смотрела на него круглыми глазами, не выражавшими ни мысли, ни чувства, и жирным языком облизывала жирные ярко-красные губы.

— Все равно! Я не могу терпеть больше, милый! Ешь и ты.

И он ел и пил, и чувствовал, как страшным, смертным клубком съеживалась проглоченная пища там, ниже грудной клетки...

Вельтищев умер от воспаления кишечника. Эмилия осталась жива и благополучна до сих пор.

Она получила большее наследство от мужа и вдовела, скорбя о гибели любимого.

— Я не знала, я, ей Богу, не знала, — говорила она близ-

кой подруге, — что это серьезно, и у Поля вырезан желудок. Ветвицкий согласился мне сделать только поверхностный разрез. Я думала, что и у всех этих, безжелудочных, так. Шутка и не больше.

Женщина нашла выход.

ОШИБКА БИОЛОГА

Профессор Цедербаум стал известен в научном мире сочинением: «Естественные законы эстетики».

Особенное впечатление произвел том XI, в котором излагалась теория внешних влияний на человеческий зародыш.

Цедербаум утверждал, что от самых некрасивых родителей могут родиться дети античной красоты, если будут приняты соответственные меры. И обратно, при некоторых неблагоприятных условиях, от Адониса и Венеры может произойти чрезвычайно уродливое поколение.

Все дело, по его мнению, в тех впечатлениях и настроениях, которые переживают оба супруга, особенно же будущие матери.

Огромное значение придавал ученый профессор и медовому месяцу. Новобрачные должны окружить себя исключительно красивыми предметами, посещать музеи, картинные галереи, но отнюдь не смотреть продолжительно на произведения искусства, где изображено безобразие. Но особенно следует остерегаться смотреть на калек-нищих, уличных боярек и на безобразных животных. Очень опасны в этом случае морской спрут, черепаха, ящерица, змей и крокодил. Лучше избегать общения и с кошками, собаками, обезьянами. Совершенно воспрещается посещение зоологических садов...

Подробнейшие советы этого рода не уместились в томе XI, почему Цедербаум выпустил добавочно тома XII и XIII, в которых развел теорию антиэстетического влияния на человеческий зародыш насекомых, слизняков, червей и даже инфузорий, видимых в микроскоп лишь при увеличении в 5000 раз.

В конце XIII тома Цедербаум обещал выпустить новую серию томов, в которые войдут его дальнейшие работы.

Ученые критики, восторгавшиеся этим колоссальным трудом и называвшие его научным открытием, с особым восхищением цитировали одно место:



«Решающее значение для красоты будущего поколения имеет момент, когда девушка, вступившая в брак, становится женщиной. Если при этом имели место благоприятствующие влияния, то натура женщины, как консервативная, удерживает способность проводить линию красоты и при следующих деторождениях даже в том случае, когда благоприятствующие влияния не повторяются».

Книга Цедербаума разошлась первым изданием за один месяц и издатель приобрел сейчас же от ученого право на второе — за увеличенную цену. Но не одни деньги явились результатом его знаменитой работы: самолюбие Цедербаума было удовлетворено сверх меры массой благодарственных писем и телеграмм.

Содержание их было одно и то же: «Вступивши в брак 9 месяцев тому назад и следуя вашим советам, уважаемый профессор, мы были поражены блестящими результатами — первый плод нашей любви несравненной красоты при явных признаках гениального ума».

Все эти благодарственные отзывы Цедербаум собрал в томе XIV второго издания своего сочинения, расходившегося с таким же успехом, как и первое.

Ученый торжествовал. Академии всех стран избрали его в почетные члены. Литература о его теории на различных языках достигла 12.750.277 экземпляров. Редактор «Нью-Йорк геральда» прислал каблограмму с предложением уплатить 100 долларов за букву научно-популярного фельтона. Образовалась «Лигаувековечения памяти Цедербаума при жизни» и подпись шла с огромным успехом.

В городке, где Цедербаум проводил лето, население сделало в честь его празднество. Сотни детей, одетых в белое, с розами в руках собирались на улице под балконом ученого и пели гимн, сочиненный школьным учителем:

О, Цедербаум, творец красоты,
Благодарим тебя все мы!

После гимна школьный учитель произнес речь об Аполлоне Бельведерском, Ахиллесе и Александре Македонском.

За ним выступил пастор и объявил, что сочинение Цедербаума вполне соответствует Библии, так как человек создан по образу и подобию Божию; Бог же есть совершенство красоты.

Случившийся же здесь полковник Пальц попросил слово и сказал речь *mit Bomben und Granaten*^{*}:

— Сила, здоровье, красота — одно и тоже. Нам нужны здоровые и красивые рекруты для осуществления мирового владычества Германии. Отцы и матери, следуйте советам профессора Цедербаума! Пусть дети ваши будут сильны и красивы! Мы завоюем с ними весь мир! На Восток, друзья, дружным налеском! Вперед, вперед! Слышите грохот выстрелов из двенадцатидюймовых пушек наших дредноутов? Слышите взрывы торпед, бросаемых цепеллинами на их крепость? Святой Михель огненным мечом осеняет Германию! Вперед, вперед! Да здравствует император! Да здравствуют наши сильные войска и флот! Да здравствует профессор Цедербаум!

^{*} «С бомбами и гранатами» (нем.).

Ученый стоял на балконе и из глаз его лились блаженные слезы.

Но всякое счастье так непрочно.

В научном журнале, стоявшем в оппозиции к академической науке и сеявшем всегда смуты и раздоры, появилась статья биолога Фукса, написанная в чрезвычайно резких выражениях:

«Цедербаум — типичный представитель научного шарлатанства. К вопросам физиологии и биологии он прилагает умозрительный метод или, попросту говоря, пишет под видом научного исследования всякий вздор, который ему взбредет в голову. Наука о развитии зародыша (эмбриология) не терпит беспочвенных фантазий, достоверны лишь наблюдения и опыт. Имел их г. Цедербаум? Нет. Благодарственные отзывы, которыми он наполнил XIV том своей шарлатанской макулатуры, никакого научного значения иметь не могут и, вернее всего, просто фальсифицированы самим г. Цедербаумом для саморекламы. Родители всегда считают своего ребенка, особенно первого, идеалом красоты и гением, хотя бы он был уродом и идиотом. Следовательно, наблюдений г. Цедербаум не имеет. Опытов также. Что же остается от всей его нелепой теории? Несмотря на все научное невежество, проявленное г. Цедербаумом, мы надеемся, что он знает термин: “показательный опыт”. Пусть покажет!»

Невозможно описать негодование Цедербаума. Но что он мог возражать этому проклятому Фуксу?

Единственным способом посрамить врагов было принятие вызова.

Цедербаум, доживший холостяком до 52 лет, женился с научной целью на двадцатилетней и непорочной девице Вильгельмине.

— Я им докажу! — шептал профессор, стоя рядом с юной, пышной невестой перед пастором, благословляющим счастливую чету.

«Показательный опыт» был обставлен по всем требованиям науки.

Правда, Вильгельмину никак нельзя было назвать дурнушкой и молодежь, особенно военная, не давала ей про-

хода на улице.

Но сам профессор оставлял желать многого в эстетическом отношении. Его подбородок походил на нос, а нос на подбородок. Выходило что-то вроде клещей и являлось большое сомнение о возможности поцелуя. Лицо, конечно, все бритое. Голова совершенно не нуждалась в парикмахере и представляла блестящий шар с седой бахромой, идущей от уха к уху через затылок.

«Опыт» начался с кареты.

— Милая, не смотри ни на что, даже на меня. Лучше всего закрой глаза.

И Вильгельмина ехала, зажмурившись, чтобы не получить антиэстетических впечатлений.

На квартире новобрачных все было приготовлено согласно теории Цедербаума.

Красота и красота!

В обоях, коврах, мебели, особенно в картинах и статуях. Воздух был напоен нежным ароматом ландыша.

Повсюду цветы скрывали неэстетичность оконных рам и резко-геометрических углов.

За ужином, на который не было приглашено ни одного постороннего, будущие супруги ели только все красивое. Цедербаум незаметно накрыл салфеткой омара. В главе 24-ой XII тома «Естественных законов эстетики» было сказано: «Вид ракообразных должен особенно дурно влиять на красоту зарождающегося ребенка».

Наконец, молодые удалились в спальню.

Она была залита розовым светом, как наиболее благоприятствующим. На середине комнаты стояло мраморное ложе, окруженное обнаженными статуями лучших античных образцов. Курильницы источали фимиам.

Цедербаум обратился к новобрачной с пространной речью, объясняющей научную цель «показательного опыта», и просил убедительно не спускать глаз с прекрасных изваяний.

Затем, рассказав подробно о Леде и лебеде, удалился. Соскучившись, Вильгельмина легла спать. Внезапно отворилась дверь и Цедербаум явился в лебединой одежде, игри-

во махая крыльями и закругляя длинную шею...



Через девять месяцев Вильгельмина со счастливой улыбкой указала ему на колыбель. Профессор бросился исследовать ребенка. Несмотря на протесты кормилицы, он распеленал маленького Ганса и отступил в изумлении. Перед ним на подушке с кружевной оборкой лежало существо, все покрытое волосами, с непомерно длинными руками, с выдающимися челюстями и огромным ртом.

— Обезьяна! Орангутанг! — закричал не своим голосом ученый и бросился в свой кабинет. Через месяц он сооб-

щил в брошюре подробно о результатах «показательного опыта», развив новую «теорию контрастов». Изобилие эстетических впечатлений (мраморные статуи, сам профессор в образе лебедя) привели воспринимающий организм женщины к реакции атавистического характера, ясно доказывающей истинную натуру предков человека. Признав неудачность первого показательного опыта, Цедербаум обещал публике вторую повесть именно по новой теории контрастов.

Супружеская спальня была переполнена чучелами горилл, орангутангов, шимпанзе, гамадрилов, павианов и макак. Вильгельмина должна была смотреть на нищих-калек, босяков, морских спрутов, крокодилов и даже сам профессор вошел в святое святых одетым мандриллой.



Через девять месяцев Вильгельмина со счастливой улыбкой указала Цедербауму на колыбель. Но научное исследование дало тот же результат: маленький Фриц был волосят, как и его брат, руки длинные — ниже колен, выдавшиеся челюсти, огромный рот.

Профессор выпустил новую брошюру, в которой теория контрастов признавалась ложной и утверждалась прежняя теория эстетических и антиэстетических влияний.

Но после двух лет молчания заговорил снова биолог Фукс.

С обычной резкостью и грубостью высмеял он «показательные опыты» Цедербаума, упомянул даже о его лысой голове и закончил статью гнусным намеком на какого-то ротмистра Курц-Галопа, известного в 3-ем уланском полку своей необычайной волосатостью и обезьяними руками.

Цедербаум развелся с Вильгельминой и отказался от «показательных опытов», но издал недавно XXVII том «Естественных законов эстетики», трактующий о влиянии циклонов и антициклонов на пол зарождающегося поколения.

НЕУДАЧНАЯ ЛЕНТА

I

Разноцветные попугаи качались на ветвях и болтали на чистейшем папуасском наречии. Бабочки кокетничали своими пестрыми нарядами. Пара обезьян кривлялась и гримасничала. Семейство диких свиней хрюкало в грязной луже. Всего в двух шагах кенгуру спрашивали медовый месяц...

— Мать — природа! — восторженно произнес умиленный Степанов и почувствовал, что ему хочется есть.

Насытившись взятой с собою провизией и запив обед стаканом виски, Степанов задремал, и в девственном лесу раздался истинно русский храп.



Именно это обстоятельство привлекло внимание папуаса, прогуливавшегося в лесу. Он подобрался ползком к Степанову и замер в трепетном ужасе при виде белого человека, издающего ртом и носом такие необычайные звуки.

Папуасы, как известно, никогда не храпят во сне и потому эта особенность белого человека крайне поразила дикаря. Он поспешил сообщить о виденном и слышанном своему племени.

— Белый человек поет во сне.

Все бросились убедиться лично в этом невероятном известии. Степанова окружила огромная толпа и в восторге пустилась в пляс.

В испуге он вскочил и протер глаза.

Голые, татуированные и раскрашенные дикари исполняли какой-то адский танец, потрясая в воздухе копьями и топорами. За кругом танцующих виднелся другой из женщин, которые, сидя на корточках, били колотушками по выгнутым доскам и дудели изо всех сил в длинные тростниковые трубы.

Очнувшись окончательно, Степанов вспомнил некоторые наставления Миклухи-Маклай и сделал повелительный жест.

Танцы и музыка тотчас прекратились.

Степанов произнес речь:

— Товарищи папуасы! Капиталистическое производство создало, с одной стороны, шайку бандитов, именующих себя господствующим классом, и с другой стороны много-миллионную массу неимущего и бесправного пролетариата. Несправедливость, лежащая в основе современного государственного и общественного строя, есть результат долгого исторического процесса. Натуральное хозяйство, перейдя через фазы рабовладельчества и феодального права, сменилось наконец хозяйством капиталистическим. В то же время, средневековые ремесленные цеха...

Степанов в течение полутора часов объяснял своей многочисленной аудитории происхождение современного государства и беспощадно осудил европейскую цивилизацию и культуру. Затем он перешел к преимуществам жизни первобытного человека, но вместе с тем разъяснил и недостатки патриархального строя, основанного на родительской власти, неравенстве всех и каждого, на порабощении женщины и прочих предрассудках.

— Товарищи папуасы! Я пришел, чтобы водворить сре-

ди вас справедливый строй жизни и научить вас всему хорошему. Ведите меня в свою деревню!

Речь, продолжавшаяся около трех часов, произвела на дикарей подавляющее впечатление:

— Белый может говорить столько времени, сколько нужно человеку, чтобы пойти в лес, найти и убить кенгуру, зажарить его и съесть.

Благоговейный восторг овладел толпою. Вождь племени, Титепетлекикапуан, что значит: «Сильный, как ягуар, ловкий, как обезьяна, и хитрый, как змея», преклонился перед Степановым ниц и потерся носом о его брюки. Дикари выражали свое удовольствие визгом и воем. Открылось торжественное шествие и женщины понесли на себе тяжелые тюки, составлявшие багаж путешественника.

Глубоко возмутило Степанова это унижение равноправных с мужчиной существ, но, подумав, он отложил возбуждение женского вопроса до более благоприятного момента.

Степанов был отведен лучший в деревне дом, который день и ночь охраняла стража из двадцати молодых воинов.

— Товарищи папуасы! Не нужно дворцов, не нужно привилегий! Мы все равны!

Но папуасы воздавали белому человеку божеские почести и подходили к нему не иначе, как ползком.

II

Убедившись в полной неспособности дикарей воспринять идею справедливого государственного и общественно-го строя, Степанов решил начать реформы с быта и, собрав митинг, долго проповедовал о равноправии женщины с мужчиной.

Папуасы поняли его по-своему.

К дому белого человека привели двадцать пять самых красивых девушек племени. И вождь сказал:

— Вот твои жены!

— Человек должен жить только с одною женою!

Вождь отошел в сторону, страшно огорченный: он был женат шестью шесть раз и то думал, что мало.

Тогда приблизился жрец Псиакахум:

— Белые всегда живут с одной женой. Укажи на свою избранницу!

Степанов понял, что отказываться нельзя. Брак поможет ему ближе сойтись с народом. И он выбрал девушку по имени Катлекаптиури, что значит: «обладающая грудью, подобной вымени дикой козы» — высшая похвала женской красоте по-папуасски.

Невесту отдали в распоряжение женщин, которые нализали ее мазью, добываемой из особых желез чернопегой двуутробки, и обкурили смолой, пахнувшей иодоформом.

Затем Степанову было предложено выбить долотом два передних зуба у будущей супруги в знак повиновения ее мужу, но Степанов с негодованием отверг этот гнусный обычай.



На свадебном пире женщины говорили с завистью ново-

брачной:

— Как ты счастлива! Ты будешь спать у ног мужа, который поет во сне.

И Катлекаптиури чрезвычайно гордилась, что у ней будет такой необыкновенный муж, который умеет храпеть, и заранее любила его всей своей простодушной, дикарской душой. Степанов сильно привязался к этому покорному существу и занялся воспитанием жены. Назвал он ее для простоты Катей.

Степанову была предоставлена по-видимому полная свобода, но при прогулках стражи повсюду его сопровождала.

Когда же он пытался начать митинговую речь: «Товарищи папуасы!..», дикари бросались на землю, ползли змиями к его ногам и преданно терлись о них носами.

Зато воспитание Кати дало блестящие результаты. Она совершенно отучилась употреблять мазь из желез двутробки и обкуриваться смолой. Вместо того полюбила мыться марсельским мылом и душилась фиалкой английской фирмы Аткинсон.

Ежедневно чесалась гребнем. Стала щеголять в рациональной женской одежде, сшитой Степановым из привезенной с собою материи. Блузка и шаровары.

Невозможно было только отмыть татуировку, но Степанов, как и Миклуха-Маклай, пришел к тому убеждению, что татуированные женщины гораздо красивее лишенных этого украшения.

В самом непродолжительном времени Катя бросила обычай тереться носом и усвоила всю прелесть европейского поцелуя, хотя кольцо в носу служило большой помехой. Но какая же папуасская женщина расстанется с кольцом, потеря которого считается величайшим позором!

Степанов запретил жене спать, свернувшись у ног собаки, и уступил ей лучшее место на брачном ложе.

Однажды, возвращаясь с охоты, он увидел жреца, выходящего из его дома.

— Зачем он приходил, Катя?

Папуаска взяла правой рукой левую ступню и положила в рот большой палец ноги. Это признак крайнего смущения.

щения. Голос Степанова окреп в свирепых нотах ревности:

— Отвечай!

Но Катя молчала и Степанов, к стыду своему, отстегал ее прутом бледно-голубой ивы, растущей только в Папуазии.

— Боже мой! — схватился за голову Степанов. — Я забыл все святые принципы европейской культуры!

Наступило, как и всегда при семейных сценах, супружеское примирение, и Катя, ласкаясь к белому человеку, наконец призналась:

— Псиакахум приходил узнать, будет ли у меня ребенок. Я ответила, что он уже бьется под моим сердцем.

— Какое ему дело?

Катя ничего не сказала, но заплакала, прижавшись к груди Степанова.

Сквозь рыдания он в услышал странные выкрикивания папуаски:

— Я тебя люблю! Твое тело нежнее, чем у голого детеныша двутробки! Но я не хочу, чтобы тебя съели!

Степанов почувствовал, как холодок пробежал по его спине, а во рту стало сухо.

— Как съели? За что?

— Они говорят: съедим белого человека и будем так же петь во сне и так же долго говорить. А наши женщины говорят: какое счастье, какая радость, когда наши мужья будут петь во сне! И еще наши женщины хотят узнать, что такое поцелуй.

Тут только Степанов узнал, что дурная привычка храпеть, которая в Европе признается поводом для развода, вызывает восторг в папуасских дамах.

— Но ведь всему этому можно научиться! — ухватился Степанов за единственный шанс спасения.

— Нет, они хотят тебя съесть и к ним перейдет все, что ты знаешь и умеешь. Так ведь всегда делается. Если человек очень умный, его надо съесть и все поумнеют. А мозг его делят между собою вождь и жрец. И тебя непременно съедят. Они только ждали, чтобы у меня заворочался ребенок. Его сделают жрецом, когда он вырастет. Через три дня

соберется все племя и тебя убьют, и зажарят, и все будут есть. И-га-га-га!

Катя билась в судорожных рыданиях.

У Степанова завертелась в голове карусель. Вот тебе и про-свещение папуасов! Нет, в старой Европе с ее буржуазным деспотизмом все же лучше! Что теперь делать? Бежать? Не-возможно: охраняет стражи!..

Убедить! Надо убедить, пока не поздно! Рассеять пред-рассудок!

Степанов выбежал на площадь. Тотчас его окружила ог-ромная толпа.

— Товарищи папуасы!..

Но они уже лежали на животах. Разве можно в чем-ни-будь убедить спины и затылки?

В это время до слуха Степанова донесся странный звук из ближайших кустов. Как будто шипела большая змея. По-буждаемый каким-то инстинктом, Степанов бросился туда...

— Оль райт! Вы бежали ко мне с большой экспрессией лица! — послышался сухой, трескучий голос бритого, худо-щавого человека, одетого во все белое, с сигарой во рту. — Я не прочь вас проинтервьюировать. Рекомендуюсь: Джонатан Форст, представитель фирмы Вильсон и К°. У нас луч-шие в мире кинематографы, сэр!

III

Форст, захватив «лучший в мире» кинематографичес-кий аппарат, предложил Степанову посетить его хижину, которая находилась за оградой папуасского храма.

— Вот где я живу уже шестой месяц, сэр! Но америка-нец, сэр, готов на всякие лишения для «дела». Тридцать девять лент из жизни папуасов! Все обычаи и обряды! Я ожидаю лишь возможности закончить сороковую ленту. О, это будет величайшая сенсация в мире, сэр! На моих лен-тах фирма Вильсон и К° заработает миллион долларов. Па-пуасы приносят в жертву белого человека и съедают его на



праздничном пиру.

Степанов стоял, как оглушенный, ничего не понимая. Трескучие фразы оставались для него без значения. Он только думал о том, что встретил белого, культурного человека, который, конечно, поможет ему спастись от дикарей.

Джонатан Форст достал бутылку виски, два стакана, налил их до краев и сунул Степанову сигару длиною в поларшина.

— Самое трудное в моем деле, сэр, было поладить с дикарями. Они непременно меня бы съели, но боятся кинематографа. Ящик-змея, по их словам. Потом я снял моментальную фотографию с вождя и жреца. Оба пришли в ужас,

увидав свои изображения. Умоляли меня снять с них колдовство. Но я держу это средство про запас. Пусть меня боятся. Вот теперь бы дождаться только жертвоприношения. Я устал, сэр, сознаюсь, устал! Но какая слава! Ленты Джонатана Форста! Единственные в мире!

— Но кого же, кого они хотят принести в жертву? — дрожащим голосом спросил Степанов.

Форст вынул изо рта сигару и посмотрел на него, удивленно вытаращив глаза.

— Как кого? Да разумеется, вас, сэр! Этот вопрос уже давно решен на совете старшин. Я снял торжественное прибытие ваше в деревню, митинг папуасов, ваше сватовство, свадебный пир, вы — на охоте, вы купаетесь вместе с женой-папуаской... Через три дня лента будет закончена.

Степанов почувствовал, что от страха у него сейчас разорвется сердце.

— Спасите меня! Дайте возможность бежать! Помогите!

Джонатан Форст долго молчал, пуская кольца табачного дыма.

— Это идея, сэр! Чудная идея! Мне, пожалуй, придется вставить в аппарат лишнюю ленту. Сорок первую! Таинственные приготовления к побегу, ваше бегство, погоня, вас ловят, торжественно ведут в деревню... Превосходно, сэр! Я к вашим услугам! Слово Джонатана Форста!..

Как безумный, Степанов бросился домой. Что-нибудь надо предпринять! Его хижина была полна женщин. Катя сидела посередине и жалобно причитала:

— Белый человек разучился петь во сне! Белый человек разучился долго говорить! Белый человек разучился целовать!

А женщины яростно подтягивали хором:

— Белый человек разучился, он ничего не может, никто не станет есть его дрянного тела!

И когда Степанов хотел пройти к жене, женщины били его, плевали ему в лицо, мазали нечистотами, всячески выражая свое презрение к человеку, которому уже нечего надеяться удостоиться величайшей чести — быть съеденным.



Так умная, преданная Катя спасла Степанова и никто им не препятствовал уйти из деревни. Они достигли английской фактории, сели на пароход и уехали в Россию, где супруги совершенно разошлись в убеждениях: Степанов вступил в Союз русского народа и яростно громил всех инородцев, а папуаска Катя поступила на Бестужевские курсы.

Американская фирма лучших в мире кинематографов Вильсон и К° отправила на свой счет экспедицию в Папуазию для разыскания своего представителя, Джонатана Форста.

Кинематограф, ленты и все вещи были найдены в целости в папуаском храме. Дневник кончался короткой заметкой: «К сожалению, мне не удастся снять последнего момента».

А на вопрос членов экспедиции, где белый человек, вождь папуасов, Титепетлекика папуан, стыдливо опустив глаза, ответил:

— Он совсем не был вкусен!

Во всех американских газетах одновременно появилось следующее объявление:

Фабрика кинематографических лент Вильсон и К°

**Единственные в мире ленты Джонатана
Форста, изображающие жизнь и обычаи Папуасов!**

По непредвиденным обстоятельствам, талантливый представитель нашей фирмы Джонатан Форст не мог закончить замечательную серию своих лент. Белый человек, которого папуасы имели в виду съесть на праздничном пиру, не оправдал возлагавшихся на него нашей фирмой надежд и скрылся бегством. Вследствие этого приглашаем лиц, намеревающихся лишить себя в непродолжительнее времени жизни, на следующих условиях. Означенное лицо отправится под руководством нашего представителя в страну папуасов, где позволит беспрепятственно себя съесть людоедам. Когда мы получим ленту с изображением этого события, родственникам или иным лицам, по приказу съеденного, уплачено будет 50.000 долларов.

Вильсон и К°, Балтимор.

Охотников пока еще не нашлось. Не угодно ли?

К ЗВЕЗДАМ

I

Поль Лефевр тщетно пытался выбиться из посредственности.

Всегда повторялась одна и та же история. Он задумывал новую картину и весь горел огнем вдохновения. Думал и говорил только о своем будущем произведении. И задолго перед тем, как взять кисть в руки, мечтал целыми часами о будущем.

Вот картина его на выставке. Он вмешался в толпу и слышит восторженные отзывы.

— Какой талант! За последнюю четверть века не появлялось ничего подобного! Это совсем новая школа!

Так говорят кругом, но чуткое ухо художника ловит тихий, нежный лепет розовых девичьих губ:

— Я хотела бы видеть Лефевра. Он, наверное, красивый, высокий и у него глубокие-глубокие серые глаза, которые видят душу насквозь.

Наутро читает газеты. Всюду восторженные рецензии.

«Лефевр! С этого дня живопись должна начать новую эру. Художник разрешил великую проблему нового искусства. Искания духа последнего времени соединились с красотой формы. После серых сумерек, темной ночи, взошла заря и блеснули первые лучи солнца. И солнце это, скажем смеясь, — картина Лефевра!»

О, газетные рецензенты умеют писать, когда захотят! Пусть они преувеличивают, льстят, но их лесть так приятна, так ободряет! Чувствуешь себя приподнятым, гордым в собственных глазах своих; удача — вот секрет жизни, вот тайна искусства!

И, конечно, к Лефевру является богач, быть может, американский миллионер и покупает модную картину за бешеные деньги.

Исполняется давнишняя мечта. Лефевр едет на Восток.

Видит пирамиды, сфинкса. Дальше, в Азию. Восточная роскошь, баядерки, таинственный полумрак индийских храмов. Китай, Тибет. Всюду побывает он и сюда, на родину, принесет великую, разгаданную им первым, тайну Востока...

Имя его гремит, имя его на устах каждого.

—Лефевр, Лефевр!

И даже живые мертвецы, заседающие в академии, избирают его в «бессмертные», подчиняясь голосу всего народа...

Когда на полотне еще не было ни мазка, Лефевр уже переживал жадно все ощущения славы, и пил отправленную чашу лести и поклонения, и гордо поднимал голову, смотря на всех свысока и едва отвечая на вопросы.

— Лефевр задумал новую картину, которая на этот раз его не обманет! — посмеивались в кабачке, где собирались художники.

Лефевр входил мрачный и гордый, садился в уголу за отдельный столик и пил вино, смотря куда-то вдаль, через головы присутствующих.

Его не оставляли в покое и, переглянувшись, шли к нему целой процессией со стаканами в руках и чокались.

— За величайшее произведение искусства в XX веке!

Лефевр злился. Отвечал резко, грубо. Скорился, оскорблял. Уходил, наговорив всем колких неприятностей. И оставшиеся художники говорили:

— Какой невыносимый человек! Он ведь действительно убежден, что первый художник в мире, а каждая его картина проваливается с треском.

— А что Сюзетта?

— По обыкновению, позирует ему даром. Влюблена. А он обращается с ней хуже, чем с горничной. Жаль, такая милая, хорошенъкая девушка и возится с таким негодяjem.

— Ну, уж ты слишком: почему негодяй?

— Ах, милый, не все же рассказывать. Если говорю, значит, что-нибудь знаю.

И вокруг Лефевра, нелюдимого, плохого товарища, самовлюбленного безумца, шипела злобная, безымянная сплет-

ня, сотканная из полунамеков и недоговоренных слов. Ка-
залось, кружку художников доставляло особое удовольствие
травить, злословить, даже просто клеветать. А наряду с
этим, все отлично знали, что Маре живет на содержании у
старухи, что Кальмон прогнал жену с тремя детьми на ули-
цу, а сам поселился с распутной Полиной, прозванной Ри-
кошетной, и едва ли не торгует своей любовницей, что мно-
гие блудолизничают у богатых, пишут по заказу порногра-
фические картины, а относительно Люкаса достоверно из-
вестно, что он германский шпион и живет продажей своей
родины.

И весь этот сброд, с грязным прошлым и еще более
грязным настоящим, ненавидел и травил Лефевра и шум-
но радовался каждому его неуспеху.

А ему, действительно, не везло. Цель, которой он зада-
вался, всегда превышала его талант, и он мучился в поту-
гах творчества, пытаясь создать великое и давая жалкую
попытку на величие.

Будь он проще, скромнее в замысле, его имя не греме-
ло бы по всему миру, но говорили бы: «Наш уважаемый,
наш талантливый, наш плодовитый».

Но Лефевру была ненавистна сама мысль о золотой се-
редине, об умеренности в порывах. Все или ничего! И он
мучил бедную Сюзетту, преданную девушку, часами застав-
ляя ее позировать голой в холодной мастерской. И злился,
когда ничего не выходило, во всем обвиняя неповинную на-
турщицу. Доходил до неистовства, бил ее по щекам и потом,
в порыве раскаяния, падал перед ней на колени, целовал
ноги.

II

Последнюю картину Лефевра опять высмеяли, и злее
прежнего.

В газете читал он рецензию и ядовитые строки отрав-
ляли сознание, мозг туманился не от злости, нет, было не

до того, но звучало в ушах похоронное пение над погибшей мечтой и сам художник чувствовал себя таким маленьkim, униженным, затоптанным.

Сюзетта знала это настроение, смело подошла к нему и гладила его длинные, курчавые волосы.

Девушке было искренне жаль художника и она ненавидела людей. Если бы они знали, сколько оба выстрадали над этой картиной!

Лефевр тихо и нежно отстранил руку девушки, поцеловал ее в лоб и собрался уходить.

— Надолго? — тревожно спросила Сюзетта. — Мне без тебя будет так скучно.

Лефевр задумался.

— Знаешь что, я не пойду в наш кабачок. Черт с ним! Они опять разозлят меня до неистовства. Пойдем вместе или лучше поедем по подземной. Остановимся где вздумается и зайдем в первый попавшийся ресторан, где нас никто не знает.

Сюзетта не чувствовала под собой ног от радости. Ведь так редко брал он ее с собою. Быстро оделась. Под огромной модной шляпкой розовело ее взволнованное лицико и глаза, совсем кукольные, сверкали и отражали весело огонь уличных фонарей.

Ехали по подземной, пока не надоело. И оба радовались, что заброшены в огромный город, вдали от дома они одни, никто их не знает, не раздражает неловким вопросом.

В ресторане Лефевр, выпив вина, оживился, был нежен с Сюзеттой, ухаживал за ней, как влюбленный. Так было каждый раз. Пережив горечь неудачи, художник начинал обличать самого себя и оказывался кругом виноватым, и только одна эта девушка любила и поддерживала его, а ей он давал одни лишь муки.

Лефевру в эти минуты казалось, что вся его погоня за славой — вздор и страдания, которые он переживал, не стоят одного горячего поцелуя Сюзетты.

Так сидели они счастливой, влюбленной парочкой, испытывая то, что чувствуют только что пережившие кора-

блекрушение и сидящие у теплого камина после ледяного холода морских волн и ужаса смотрящей в лицо смерти.

Бежали газетчики с вечерними экстренными приложениями:

— Полет Блерио через Ламанш! Телеграммы о прибытии Блерио в Англию на аэроплане!

Лефевр, никогда раньше не интересовавшийся воздухоплаванием, купил листок и прочел его невнимательно.

— Что такое? — спросила Сюзетта.

— Да какой-то Блерио перелетел через Ламанш и об этом, конечно, будут кричать целую неделю. Всякий шарлатан у нас легко делается знаменитостью. Старая история о глупой толпе...

— Постой! — перебила его Сюзетта, сделав большие, удивленные глаза. — Ты говоришь — перелетел. На чем? Это шар, который мы видели, помнишь, в загородном саду?

— Нет, аэроплан. Это такая штука, вроде естественной птицы, с крыльями и хвостом. На нем стоит мотор, как на автомобиле. Тяф-тяф! Вертится колесо, или винт, и птица летит. Вернейший способ сломать себе шею.

Сюзетта задумалась и долго в ее кукольных глазах светилось что-то изнутри и, казалось, эта маленькая головка занята новой, необычной для нее работой.

Когда же они вернулись домой и легли вместе, и долго сжимали друг друга в объятиях, Сюзетта вдруг вспомнила и усталым голосом, проговорила:

— Крылья! Человек летит! Как это хорошо! Я была маленькой и во сне видела, что летаю. Знаешь, милый, я и сейчас вижу иногда этот чудный сон. Так легко, чудно. Поднимаюсь на воздух — и всегда с колокольни, которая стоит у нас в деревне. Распушу крылья и несусь, несусь, несусь над землей!

А наутро Лефевр читал в газете восторженные статьи о полете Блерио. Да, это настоящая слава, бессмертное имя! И как просто, надо только решиться.

Лефевр стал внимательно читать статьи по воздухоплаванию. «При упорном желании человек может в полтора месяца выучиться летать на аэроплане».

Отчего бы ему не попробовать? Завоевание воздуха, слава, телеграммы по всему свету...

III

— Этот летающий художник, черт его знает, когда сидит в нашей компании, мне все кажется, что он над нами смеется.

— Смелыйaviator! Взял уже три приза!

— Все это прекрасно! Но не льнет к нему душа. Иной раз хочешь протянуть стакан и чокнуться с ним, а поглядишь на эту надутую физиономию и рука опустится.

— Дружит только с Виньолем.

— Вот человек! Кажется, уж ему-то есть, чем гордиться. Сделал невозможное. Помните этот полет над Парижем? Ведь измени машина, — опуститься негде. Верная гибель. А смотрите, какой товарищ! Знает каждого по имени, помнит все, что ему говорили. И чуть что, первый поможет. Шарль Дюмон выдумал особый биплан. Фирма отказалась строить за собственный риск. Виньоль дал денег, а фирма после трех удачных полетов купила машину у Дюмона, и он расплатился. У Виньоля особое чутье на авиаторов. Пришел к нему молодой английский баронет, сильный, мускулистый: «Вы никогда не будете летать, я не возьму вас в ученики». Старому же маркизу сказал: «В час добрый, хотя у вас на часах бурбонская лилия, но я берусь вас обучить скорее многих молодых». И что же? Баронет пошел в школу братьев Вуазен и через неделю сбежал, а маркиз недавно поднялся на 700 метров и летает удивительно красиво. Какие повороты!

— Вероятно, Виньоль провидит что-нибудь и в Лефевре.

— Вероятно! Но я его терпеть не могу!

— Не влюбился ли ты в Сюзетту?

— Ну вот, выдумки! Однако, прямо скажу: мне жаль милую девушку. Жить с таким типом! Бррр! Ведь это факель-

щик из похоронного бюро, а влюблен в себя до поклонения.

В кружке авиаторов Лефевра так же не любили, как и среди художников.

Успех был несомненный. Три приза дали изрядные средства. Газеты печатали восторженные отзывы. Имя Лефевра стало известно за океаном. Какой-то русский генерал приехал специально с ним познакомиться, все жал ему руку и повторял без конца:

— Нам, русским, нужны такие люди! Поезжайте в Россию!

Сюзетта поклонялась ему, как Богу, и в ее ласках сквозила робость перед высшим существом, летающим, как птица, не во сне, а наяву, на глазах огромной толпы.

Но все это было не то. Горький осадок прежних неудач слишком разъел душу и средний успех не мог быть целительным бальзамом.

И опять, как и во время художественного замысла, Лефевр создавал в воображении чудовищные образы невозможных полетов и рвался изо всех сил сразу стать на голову выше всех.

А воздухоплавание стало уже ремеслом и много авиаторов спокойно относятся к славе других, довольствуясь средним успехом. Все то же самое, что и в художественной среде. Только люди эти здоровее, мускулистее, самоуверенней.

В одном Виньоле находил Лефевр отзвук своим мечтам. Но этот безумно смелый авиатор был человек железный, никогда не волнующийся, твердо идущий к цели и в самом риске не теряющий холодного расчета. Безумным Виньоль казался только другим, а в действительности он много работал, строго обдумывал каждый шаг и бил почти наверняка. Он понимал хорошо Лефевра.

— Вы — ракета! Взлетите, рассыпаетесь разноцветными огнями и погибнете. Берегитесь! Больше всего берегитесь самого себя!

Лефевр мечтал о развитии остроты движения аэроплана. Плохо зная механику, он думал лишь о том, чтобы по-

ставить на свою машину более сильный двигатель и попробовать достичь огромных высот.

Фирма исполнила его заказ, но механик только качал головою.

— Аэроплан не выдержит двигателя в 50 сил!

— Ставьте, не рассуждайте!

Наступал день полета. Собрались авиаторы, публика; впереди стояла Сюзетта, бледная, взволнованная.

Лефевр не признавал тихого раската, а давал сразу почти полный ход и со стороны казалось, что его машину кто-то могучий срывает с земли и сильной рукой бросает в воздушную бездну.

И теперь рванулся он, прокатившись всего три-четыре метра, и взвился крутой спиралью. Было слышно, что машина работает вовсю, и в ее грохоте и шипении чудилось что-то угрожающее, опасное. Опытное ухо улавливало перебои этого сердца аэроплана, и главный механик выражал то, что в душе скрывал каждый.

— Этот сумасшедший сегодня погибнет!

А машина Лефевра забирала все выше и выше и казалась уже маленькой птицей, и шум двигателя не достигал толпы и не беспокоил ее.

Теперь все любовались невиданным полетом и с уст готовы были сорваться восторженные клики.

— Он погиб, Боже мой, он погиб! — звонко, режущим голосом прокричала Сюзетта.

Несчастье, случившееся на огромной высоте, не сразу дает о себе ясное представление стоящим внизу. Виден был белый дымок. Потом от аэроплана отделился черный предмет и машина стала как бы прозрачной. Крылья ее сложились и она понеслась книзу. А черный предмет помчался в другую сторону. Это был сорвавшийся двигатель.

Хоронить погибшего Лефевра собрался весь кружок авиаторов. За гробом несли венки. Сюзетту, всю в слезах,

вели под руки. Былая зависть и вражда смолкли перед все-прощающей смертью.

На похороны не явился только один Виньоль.

— Были так дружны при жизни! Что это значит?

Виньоль не подписал ни сантима на венок и памятник.

Он даже не пошел смотреть мертвого.

Воздухоплавательный поселок опустел. Запертые ангары стояли молчаливо, и никто не подумал бы, что в них заключены искусственные птицы, ожидающие лишь поворота рычага, чтобы взлететь туда, к звездам.

Виньоль вызвал дежурного механика.

— Выкатить машину! Позовите четырех членов комиссии. Я хочу предпринять полет на высоту.

Аэроплан плавно поднялся, постепенно развивая все уширяющиеся обороты спирали.

Члены комиссии молча и с удивлением смотрели, как машина превращается в едва заметную точку и, наконец, скрывается из глаз...

— Какая высота? — спросил Виньоль, спустившись на землю.

— 1.300 метров! — почтительно доложили члены комиссии. — Вы установили новый мировой рекорд и взяли приз в 100 тысяч франков.

Виньоль посмотрел грустно на льстиво улыбающиеся лица.

— Я хотел только поставить памятник моему несчастному другу Лефевру.

Приложение

НЯНЮШКИНЫ СКАЗЫ

Марфа Семеновна, старая моя няньшка, сидя на копнике, с чулком в руках, много поведала мне, маленькому, давних сказок и сказаний. Много их знала, покойница! Всех не упомниши!

Прельщал меня цветной ковер вымысла, и бредил я Жар-птицею и давал себе слово достать ее. Бредил несравненными героями, побеждающими Змея Горыныча, проклятого Кощея Бессмертного и всю злую нечисть, которой боялся я в длинные зимние вечера, трусливо выисматривая причудливые тени на стенах и темные углы. Бредил я постарше и распрекрасными царевнами, и в воображении подростка мелькали обнаженные девичьи руки с золотыми запястьями и блистающая, белая, высокая грудь...

А теперь, ближе к старости, вспомнились мне «сказы» моей няньшки, Марфы Семеновны, о сотворении мира, первых человеков и о многом другом. В этих простодушных, бесхитростных попытках народного ума звучит тот русский юмор, которого не вижу у других народов. И нет у них таких «сказов». Не все тут ново. Кое-что нашел я потом в сборнике русских сказок Афанасьева и в отреченной народной литературе профессора Тихонравова, но мне все кажется, что няньшка рассказывала лучше и глубже по замыслу.

Сумел ли я передать простые речи Марфы Семеновны, — судить не мне.

I. Сотворение мира

Сотворил Бог небу и землю. И по всей земле стояла вода.

Вот и говорит Бог черту:

— Хорошо ли?

— Хорошо-то хорошо, — отвечает черт, — а где мы отдохнуть будем? Всюду вода одна.

Велел Бог черту на дно нырнуть и горсть земли привести. Нырнул черт и принес. Дунул Бог на кусок грязи, и вышел остров, такой маленький — двоим только и лечь.

«Ишь ты, штука какая! — подумал черт. — Этак и я сумею».

Легли Бог с чертом рядом на острове и уснули.

Только черту не спится. Богу завидует, что сотворил не-бу и землю.

«Сем-ка, — думает, — я Бога в воду спихну, а сам надо всеми твердями хозяином заделаюсь».

И стал черт Бога в воду пихать. А берег-то все растет и растет, никак Бога до края не докатит. Так черт до утра все Бога пихал, а земли выросло видимо-невидимо. Сколько десятин — и не счесть.

Взошло солнышко и Бог проснулся.

— Эка, — говорит, — благодать! Мужичкам пахать раздолье. Сделаю человеков, и будут они плодиться и размножаться в поте лица своего. А себе сделаю гору Синай и гору Аарат.

Велел опять черту нырнуть и привести две горсти грязи. Нырнул черт и думает: «Добуду и себе илу подводного и что-нибудь с сотворю».

И, чтобы Бог не узнал, наглотался черт илу так, что пузырь раздуло. Еле выплыл.

Взял Бог две горсти земли и сотворил себе гору Синай и гору Аарат.

А черта стало тошнить, и он побежал от Бога и все плевал грязью. И где плюнет, там гора страшная, провалившее глубокое, трясины непроходные.

И скрылся черт от лица Господа Бога в тартарары.

Оттого горы, Синай — пуп земли, и Аарат, который для ковчега, святыми почитаются, а другие — проклятые.

Хотел Бог землю сотворить ровной да гладкой, чтобы всюду человекам пахать было свободно, а черт поднагадил.

II. Сотворение Адама

Увидал Бог, что земля очень прекрасна. Цветут цветы разные и пускают благовоние. И ходит по земле зверья всякого во множестве, и все имеют себе пропитание.

Но человеков нет.

И сказал Бог:

— Сотворим человека!

Взял глины горшечной, вылепил человека, как быть надлежит, и положил на солнышко сушиться. А чтобы черт чего не сделал, приставил пса верного.

— Стереги человека, и тебе это зачтется.

И верный пес сидел и сторожил человека, в чаянии нарады. Но очень оголодал, а взять кругом нечего. Только дознался черт и подходит издали.

— Собачка, собачка!

А верный пес говорит:

— Лучше ты и не подходи, ибо я исполняю службу Божию и все кишки из тебя выпущу.

Черт вынул из-за спины колбаску и начал пса приманивать. У того аж слюнки текут.

— Что ж, — говорит черт, — я добрый!

Взял да и бросил псу колбаску, а тот на лету поймал.

— Спасибо, — говорит, — а ты все-таки уходи подальше.

Стало пса с колбаски жаждой томить. Горит все нутро.

Язык до земли высунул.

— Пойди, — говорит черт, — попей на речке, а я пока за тебя человека посторожу.

Не выдержал пес, побежал на речку. А черт тем временем взял да и оплевал всего человека кругом. Местечка чистого не оставил, а сам убежал.

Как вернулась собака, так и взвыла не своим голосом:

— Не исполнила службы Божией! Черт обманул!

Пришел Бог. Видит — человек весь оплеванный. Сел и задумался:

«Нового человека делать долго, да и этого куда девать?»

Вывернулся Бог человека наизнанку внутрь. И вдунул ему

дух. И встал человек и пошел.

Оттого у нас снаружи чисто-гладко, а внутри погано.

А собаке сказал Бог:

— Пес смердящий! Не мог ты исполнить службы Божией, служи человеку. И быть тебе отныне на цепи во веки веков. И нет тебе входа в храмы Божии.

III. Сотворение Евы

Ходил Адам, первый человек, по земле и стало ему очень скучно. Сидит, плачет.

И говорит ему Бог:

— Адам, о чем ты скучаешь?

— Как же, — говорит, — мне не скучать, Господи? Каждая тварь живет в паре, а я один-одинешенек на белом свете.

И подумал Бог:

«Это верно! Сотворим человеку жену-подругу».

Навел Бог на человека глубокий сон и вынул ребро. Положил ребрышко человечье на солнышко обсохнуть, а сам пошел отдохнуть.

Прибегла лисица, понюхала человечину, схватила ребрышко и была такова.

Пришел Бог, глядит: нет ничего! Созвал ангелов, архангелов:

— Где ребро Адамово?

Забегали ангелы, архангелы. Испужались гнева Господня. Искать-искать: нет ребра Адамова!

Идет Архангел Михаил, главою поник.

Навстречу ему черт. Вынул Архангел меч булатный.

— Тут, — говорит черту, — тебе и конец.

— Помилосердуй! — говорит нечистый. — Скажу тебе, где ребро Адамово. Сидит лиса под кусточком, гложет человечью косточку.

Архангел Михаил не стал рубить черта, только пнул его в спину. А сам побежал искать лису. Долго ли, коротко ли ис-

кал, видит, сидит лиса под кусточком, совсем сглодала Адамово ребро, остался верешок маленький.

Схватил архангел лису за шиворот и потащил к Богу. И верешок с собою взял.

— Ну, — говорит Бог, — из этого женщины не сделаешь. Что теперь делать? Еще ребро вынимать — человека испортить. А как съела лиса адамову кость, она выходит и виновата.

Велел Бог арханделу Михаилу вынуть меч булатный и отрубить лисе хвост.

И сделал Бог из этого хвоста женщину и назвал ее Евой.

От того самого пошел женский пол, хитрый да лукавый.

Хвостом вертит, а правды не добьешься.

И ты, сынок, вырастешь — бабе не верь.

ПРИМЕЧАНИЯ

Все включенные в настоящий том произведения публикуются по означенным ниже источникам с исправлением наиболее очевидных опечаток; орфография и пунктуация приближены к современным нормам.

Сокращением РТ-1913 обозначен авторский сборник «Разрушенные терема: Эпизоды из великой войны между мужчинами и женщинами» (СПб., 1913), РТ-1914 — дополненное издание того же сборника (СПб., [1914]).

Все иллюстрации взяты из первоизданий. Подстраничные примечания принадлежат составителю.

Завтра // Синий журнал. 1912. № 13, с авторск. прим.: «P. S. Сюжет этого рассказа отчасти заимствован из одной фантастической поэмы о путешествии по планетам Я. Полонского. С. С.». Илл. В. Сварога. Позднее как предисловие к РТ с измененной концовкой; после слов «перегородки родства навсегда рухнули»:

«Все здесь описанное на первый взгляд кажется или сумасбродной фантазией, или предвидением лишь очень отдаленного будущего, которое может настолько же тревожить современное человечество, как грядущее через миллионы лет охлаждение земли и тому подобные научные предсказания, не пугающие даже детей.

Но война между женщинами и мужчинами уже давно началась, а теперь она в полном разгаре. Сознают это немногие, особенно мужчины, беспечно сдающие свои крепости женщинам.

Мой рассказ касается вовсе не будущего, а именно настоящего — я только предпочел скучные рассуждения обычных предисловий, никем не читаемых, заменить образным изложением того, что незаметно для глаз происходит в действительности и ведет к падению вырождающегося мужчины и к торжеству женовластия.

В настоящей книге собрано несколько очерков-эпизодов войны двух полов.

P. S. Сюжет этого предисловия-рассказа заимствован отчасти из фантастической поэмы Я. Полонского».

«Поэма» Полонского — ошибка автора: речь идет об описании социального устройства фантастической планеты Дадаю в повести Полонского «На высотах спиритизма» (1885).

Комета // Всемирная панорама. 1910. № 41. Илл. А. Тавица.

Заговор «Белой кувшинки» // Синий журнал. 1911. № 15. Илл. С. Львова.

Предки // Аргус. 1913. № 6. Илл. В. Сварога. На с. 49 рис. А. Шпира из указанной ниже публ. в журн. «Всемирный следопыт». Фразы, набранные в оригинале разрядкой, для удобства чтения даны курсивом.

Судьба рассказа «Предки» сложилась любопытно. В 1928 г. его под девизом «Путь» прислал на конкурс журнала «Всемирный следопыт» некий Л. А. Черняк, выдавший рассказ за собственное произведение. Черняк внес в рассказ небольшие изменения (в том числе изменил имена действующих лиц). Наиболее существенные из них коснулись финала, откуда начисто исчезло рассуждение о счастливом бытии людей-лягушек.

Рассказ «Предки» получил 8-ю премию в размере 150 руб. и был опубликован в № 1 за 1928 г. Однако уже в 3-м номере за тот же год появилась следующая заметка:

Конкурсный плагиат

На второй литконкурс «Всемирного Следопыта» (1928 г.) был прислан между прочими рукописями фантастический рассказ «Предки», который членами жюри был признан заслуживающим премирования. Ему была присуждена 8-я премия в размере 150 рублей. По вскрытии конверта, приложенного к рукописи, оказалось, что автором рассказа является Леонид Андреевич Черняк, живущий в г. Киеве, на Пироговской улице, в д. № 12, кв. 4.

Рассказ был напечатан в № 1 «Следопыта». Как только номера с этим рассказом были разосланы подписчикам, редакция получила от своих друзей-читателей несколько писем, в которых с возмущением рассказывалось о том, что редакция «Следопыта» введена в заблуждение гр. Черняком, целиком переписавшим этот рассказ со страниц журнала «Аргус» за 1913 год, где он был напечатан под тем же заголовком, и принадлежал перу покойного ленинградского писателя Сергея Соломина. Скоро в редакцию поступили и экземпляры этого номера «Аргуса», и редакция могла воочию убедиться в том, что она стала жертвой плагиата.

Конечно, члены редакции и жюри не могут знать содержание всех прежних журналов, и только у некоторых из наших много-

численных друзей-читателей могли случайно сохраниться номе-ра «Аргуса».

Поступок гр. Черняка с рассказом «Предки» относится к категории литературного мошенничества. Хорошо что, он не успел еще получить премии в 150 руб. и, конечно, получит не ее, а нечто совсем другое: редакция подала на него жалобу киевскому прокурору, обвиняя его по ст. 169 Уголовного кодекса, ч. 1, в заведомом мошенничестве. Да будет неповадно другим непорядочным личностям совершать подобные проделки и тем самым вселять у редакции недоверие к рукописям неизвестных ей авторов, присылаемым нам с периферии, — недоверие тем более неприятное, что «Следопыт» не делает ставки на известные литературные имена, а старается находить и выдвигать даровитых молодых писателей из гущи жизни.

Самым веселым во всей этой невеселой истории является «поэтический» девиз, под которым Черняк прислал украденный им рассказ, а именно:

«И если б даже в самом деле
На ложном я стоял пути, —
Но этот путь, однако ж, с честью
Я до конца хочу пройти...»

Счастливого пути, гр. Черняк! Его вам укажет киевский прокурор...

Из № 10 за 1928 г. заинтригованные читатели могли узнать, какая кара постигла мошенника. Отделался он, согласно редакционной заметке, сравнительно легко:

От редакции

В № 3 «Всемирного Следопыта» нашим читателям сообщалось о факте литературного воровства гр. Черняка, приславшего на литературный конкурс «Следопыт» в 1928 году рассказ «Предки», списанный полностью с журнала «Аргус» за 1913 год и принадлежавший перу покойного писателя Сергея Соломина. Рассказ этот был напечатан у нас. Как уже сообщалось раньше, дело для расследования было передано киевскому прокурору. На днях от народного судьи г. Киева получено сообщение о том, что обви-

няемого гр. Черняка народный суд приговорил к лишению свободы сроком на 6 месяцев без строгой изоляции. Но, принимая во внимание, что степень социальной опасности осужденного не требует изоляции от общественности, суд считает этот приговор условным на испытательный срок три года.

Гонорар в размере 150 рублей, причитающийся автору рассказа «Предки», своевременно задержанный выдачей гр. Черняку, передан редакцией в фонд самолета «ЗИФ».

Освобожденные звери // Летучие альманахи. 1914. Вып. 19.

Птицы // Аргус. 1913. № 2; РТ-1913. Илл. Н. Герардова и О. Арбина.

Вампир // Синий журнал. 1912. № 46. Илл. Н. Герардова.

Самозванец // РТ-1913.

Женщина или змея // Синий журнал. 1912. № 48. Илл. В. Сварога.

Ведьма // Всемирная панорама. 1911. № 45 (134).

Человек без костей // Аргус. 1913. № 6, под псевд. «С. Суходольский». Илл. Ф. Шольте.

Клуб безжелудочных // Волны. 1913. № 16.

Ошибка биолога // Синий журнал. 1911. № 23. Илл. Н. Радина.

Неудачная лента // Синий журнал. 1911. № 41. Илл. Н. Рогова.

К звездам // Всемирная панорама. 1910. № 48.

Приложение

Няньюшкины сказы // Синий журнал. 1911. №№ 18, 20.

Оглавление

Завтра (Рассказ из жизни будущего)	6
Комета	14
Заговор «Белой кувшинки». Фантазия	28
Предки	35
Освобожденные звери	57
Птицы	65
Вампир	93
Самозванец	102
Женщина или змея?	113
Ведьма	126
Человек без костей	134
Клуб безжелудочных	142
Ошибка биолога	151
Неудачная лента	159
К звездам	170
<i>Приложение. Нянюшкины сказы</i>	180
П р и м е ч а н и я	185

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.